

БЛАГОНАМЪРЕННЫЙ



BLAGONAMERENNY

REVUE DE LA
CULTURE LITTÉRAIRE RUSSE

N^o 1 JANVIER - FÉVRIER

REDACTEUR :
P^{ce} D. A. SCHAKOVSKOY

DIRECTEUR :
GR. SOKOLOFF

527, AVENUE LOUISE. BRUXELLES

**ОБЛОЖКА РАБОТЫ ХУДОЖНИКА
Л. ФРЕШКОПА**

БЛАГОНАМЪРЕННЫЙ

ЖУРНАЛЪ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ

КНИГА I

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ

1926

БРЮССЕЛЬ

РЕДАКТОРЪ:
КН. Д. А. ШАХОВСКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ:
ГРИГ. СОКОЛОВЪ

*25 экземпляров "Благонамѣреннаго"
отпечатаны на "papier couché"
изъ коихъ ном. 1 — 15 (арабскими
цифрами) поступаютъ въ продажу.*

ФИЛОСОФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ БЛАГОНАМѢРНОСТИ

(ОТЪ РЕДАКЦИИ)

„ ... Книги, въ которыхъ писано не то, что въ нашемъ коранѣ, — вредныя книги и должны быть истреблены. Вотъ давнишнія правила нетерпимости и фанатизма, въ силу которыхъ въ нашъ просвѣщенный вѣкъ поэзія подверглась такому гоненію и угѣсненію, какого еще не бывало. Мудреннаго тутъ ничего нѣтъ: нашъ вѣкъ такое же поприще страстей и узкихъ мыслей, какъ и другіе вѣка; минуты, когда челоѣчество устремляется къ идеямъ широкимъ и истинно-чистымъ, рѣдки и скоро проходятъ.

Всякая вещь только тогда бываетъ предметомъ искреннихъ желаній и усилій, когда цѣнится сама по себѣ, а не разсматривается только какъ средство для другой вещи. Къ вещамъ, которыя нужны намъ только какъ средства, мы бываемъ совершенно равнодушны, мы ихъ бросаемъ какъ скоро употребили ихъ въ дѣло, мы готовы замѣнить ихъ другими вещами, мы часто питаемъ къ нимъ даже отвращеніе. Мы не любимъ и не имѣемъ никакой надобности любить тѣ лекарства, которыя возвращаютъ намъ здоровье, или тотъ костыль, который замѣняетъ намъ хромую ногу. Вотъ почему признать какой-нибудь предметъ *средствомъ* значитъ безмѣрно умалить его значеніе; и вотъ гдѣ основаніе для знаменитой формулы *искусства для искусства*. Она имѣетъ тотъ простой смыслъ, что искусство есть предметъ хорошій самъ по себѣ, всегда достойный любви и желанія, и слѣдовательно не можетъ быть разсматриваемо какъ средство. Противники этой формулы должны доказать, что искусство само по себѣ безразлично, что оно ни хорошо ни дурно, а

получаетъ различную цѣну, смотря по своимъ результатамъ. Они должны поэтому доказывать, что есть случаи, когда искусство дурно, когда оно бываетъ бесполезно, или безнравственно, или вредно въ какомъ-нибудь отношеніи.

Такъ они и доказываютъ.

Искусство, говорятъ они, не всегда ведетъ къ *нашимъ* цѣлямъ, а иногда и противодѣйствуетъ имъ; слѣдовательно оно бываетъ вредно. Вотъ положеніе, которое, по нашему мнѣнію, такъ же трудно доказать, какъ и то, что пищевареніе или дыханіе мѣшаютъ и противодѣйствуютъ чему-нибудь и потому бываютъ вредны.

Возьмемъ частный примѣръ. Лозунгъ къ отрицанію истиннаго достоинства искусства далъ одинъ изъ нашихъ поэтовъ, Некрасовъ. Еще въ 1856 году онъ написалъ стихотвореніе *Поэтъ и Гражданинъ* въ которомъ гражданинъ говоритъ поэту:

Съ твоимъ талантомъ стыдно спать;
Еще стыднѣй въ годину горя
Красу долинъ, небесъ и моря
И ласки милой воспѣвать...

И такъ, два предмета самымъ прямымъ и настоятельнымъ образомъ запрещаются поэзіи: *краса долинъ, небесъ и моря*, т. е. природа, и *ласки милой*, то есть любовь. Спрашивается, почему же эти предметы вредны? Некрасовскій гражданинъ увѣряетъ, что непомѣрно *стыдно* думать о нихъ *въ годину горя*. Но развѣ можно куда-нибудь убѣжать отъ природы и любви? Развѣ это зависитъ отъ человѣческаго произвола.

И чему же могутъ мѣшать природа и любовь? Не составляютъ ли они нашей лучшей радости, не укрѣпляютъ ли они насъ въ минуты величайшаго горя? Насъ увѣряютъ, что взглянуть на небо и подумать о любимомъ существѣ бываетъ иногда стыдно; да это не стыдно не только въ годину горя, а и въ минуту самой смерти.

... 1873 г. "

Искусство, это несомнѣнно: *уходъ отъ середины.*

Средины чувства, средины мысли, средины ощущенія жизни. Все творчество выражается въ поискахъ, и въ нахожденіи своей *не середины.*

Своя не середина — мѣрка писателя, его личное безсмертіе, выраженіе его неповторяемаго подхода къ міру.

Первое зло въ искусствѣ, это подмѣнъ гармоніи серединой.

Человѣкъ, если онъ сознаетъ себя человѣкомъ, согласится скорѣе отражаться въ зеркалѣ чужимъ лицомъ, нежели искривленнымъ своимъ.

Это потому, что кривая правда болѣе гнусна чѣмъ не правда, и болѣе неправедна.

И еще потому, что чужая гармонія отразитъ человѣческое лицо лучше, чѣмъ *уже не собственное* равновѣсіе атомовъ.

И здѣсь ясно, почему *середина* — зло, негативъ литературы. Она — ноль: подмѣнъ совершенства, совершенною пустою.

Середина побѣждаетъ не борясь. Потому что законно побѣждаетъ того, кто противъ нея не борется.

Въ серединѣ, въ теплотѣ не можетъ быть борьбы, — это *contradictio in adjectu*. Этого изумительно не видятъ люди борющіеся за коллективъ.

Бороться за приведеніе всѣхъ людей къ одному знаменателю всеобщей классической срединности, значитъ, все же, имѣть въ себѣ что то человѣческое — пусть недостаточное для пониманія, хотя бы, своей трагедіи.

Реальная же борьба возможна только *противъ середины*. Эта борьба и есть борьба литературы.

Человѣкъ, сознающій себя Лицомъ, не можетъ не итти по пути своего высшаго преображенія, своей конечной полноты.

Все счастье, вся сила и вся благородная гордость человека въ томъ, что *ему данъ путь наибольшаго сопротивленія.*

Чѣмъ болѣе осознаетъ онъ свою личность, тѣмъ интенсивнѣе борется противъ своего уничтоженія, противъ середины, которая не его, которая *ничья.*

Жизнь, это литература. Борьба за жизнь можетъ быть, только, литературной борьбой.

Какова же истинная литературная борьба?

Событія послѣднихъ лѣтъ показали, съ достаточной ясностью, характеръ борьбы тѣхъ, кто борется за середину, т. е. противъ человѣческой жизни, противъ литературы.

Эта *нелитературная* борьба — кто усомнится? — проходитъ подъ знакомъ ненависти...

Не становится ли яснымъ, здѣсь, характеръ борьбы литературной?

Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что обострившаяся въ Россіи предреволюціонной, и принявшая болѣзненные размѣры въ Россіи пореволюціонной, литературная многонаправленчатость есть явленіе глубоко нелитературное.

Не оттого, конечно, что поэтическихъ школъ, въ Москвѣ, только вдвое меньше числа всѣхъ московскихъ поэтовъ, а лишь потому, что не существуетъ между ними почти никакихъ иныхъ отношеній, кромѣ нервно-злбныхъ.

Злоба и жизнь, для насъ, несовмѣстимы. Что же совмѣстимо съ жизнью?

Устремленность литературы, сейчасъ, такъ грязна, что если мы скажемъ, съ чѣмъ совмѣстима она для насъ, — намъ придется, читатель, разсмѣяться отъ несоотвѣтствій.

Неужели Апполонъ никогда не пропоетъ міру, что злоба и всѣ гадкіе найденыши ея: зависть, гордость, тщеславіе, (тщеславіе — по природѣ своей не могущее, *даже* быть крупнымъ)... допущены Юпитеромъ на Парнасъ по отсутствію вкуса его парнаскаго величества?..

Мы не произнесемъ никакого несоотвѣтственнаго слова, потому что намъ не хочется смѣяться.

Мы, только, скажемъ, что по глубочайшему нашему убѣжденію, литературная борьба, это — ПОМОЩЬ.

Пусть ненужная, пусть смѣшная и жалкая, иногда, но *единственная могущая побѣдить.*

Намъ ясно, что объявлять нелитературную войну нелитературной войнѣ, это зарывать себя въ одинъ изъ самыхъ недобросовѣстныхъ соціальныхъ софизмовъ послѣдняго времени.

Пусть прослѣдитъ, желающій, исторію поэтическихъ школъ, начинавшихся гордыми манифестами: интенсивность заряда ихъ злобы, ко всѣмъ «отсталымъ» будетъ, въ свѣтѣ исторіи, обратно пропорціональна ихъ поэтической значимости.

Это — законъ Вкуса. Какъ жить безъ надежды на непреложность такого закона?

Путь литературы, какъ всякій путь жизни, развѣтвленъ.

Всякая рѣка правдива: текущая ли по долину, сворачивающая ли въ ущелье. Лишь бы она была рѣкою — несла воды.

Основное всякаго предмета неуклонно и почти предопределенно умаляется большинствомъ голосовъ всякой эпохи.

Нѣтъ нужды говорить, что все «дерзающее» не дерзаетъ вовсе, а лишь подобно, въ физическихъ процессахъ своей эпохи, той вылетающей пробкѣ, которая всецѣло принадлежитъ бутылкѣ, изъ которой вылетаетъ, и не отдѣлена отъ ея бытія ничѣмъ.

Развѣ у литературы могутъ быть нелитературныя дерзанія?

Литературность же или нелитературность дерзаній познается по справедливому вкусу плодовъ.

Справедливость же литературной исторіи математична.

Шумъ, ругательства, угроза смертію, просто угроза, — развѣ представляютъ собою какую-нибудь *литературную* силу? Ребячество думать такъ. Можно продѣлать на всемъ земномъ шарѣ социальную революцію, — отъ этого не прибавится ни одного вершка росту ни одному поэтическому дарованію.

Гражданская поэзія, это подмѣнъ человѣка гражданиномъ. Поэтъ - гражданинъ, это поэтъ - человѣкъ, глядящійся въ кривое зеркало.

Развѣ мы говоримъ этимъ, что можно оспаривать поэзію поэта — поэта-гражданина? — Мы говоримъ, только, что въ двусловіи: «поэтъ - гражданинъ», нѣтъ ничего, что бы ясно говорило о поэзіи, а не о гражданствѣ.

Если же признать за обоими словами равную цѣнность, то почему тогда не говорить о поэзіи капиталистической, пролетарской, средняковской, — не знаемъ еще какой?!

(Нѣкоторымъ дополненіемъ, къ двумъ-тремъ своимъ мыслямъ о гражданской поэзіи, Редакція “Благонамѣреннаго“ рѣшаетъ здѣсь привести одно письмо, принадлежащее перу извѣстнѣйшаго русскаго литературнаго критика. Это — отвѣтъ на письмо редактора, просящее принять участіе въ “Благонамѣренномъ“, подчеркивающее исключительно-литературный характеръ журнала:

“Какъ вы не знаете? Мой долгъ открыть вамъ: во мнѣ ни на грошъ нѣту “благонамѣренности“ и, главное, рѣшительно ни для кого: моя неблагонамѣренность признана ровно всѣми, полнымъ кругомъ, отъ Луначарскаго съ Зиновьевымъ до Маркова II. Нечего говорить, что въ него входятъ Милуковъ, Вишнякъ, Струве и т. д. Поэтому мнѣ и думать нечего участвовать въ вашемъ Благонамѣренномъ; еслибъ вы, какъ должно, относились къ своему журналу, вы бы меня и не приглашали!

Поблагодарите меня за откровенность и будьте счастливы“.)

Нѣтъ, изъ всѣхъ словъ, отдѣляемыхъ отъ «поэта» только черточкой, можно, въ поэзіи, признать лишь слово: «человѣкъ» ... Можетъ быть, только, изъ за того, что всякій человекъ, въ силу того, что онъ человекъ, уже, *какъ-то*, поэтъ.

Надъ послѣднимъ надо больше думать людямъ пишущимъ плохіе стихи, чтобы пріобщиться поэзіи.

Апологеты «искусства для искусства», чьи критическія защиты самодавляющаго искусства были самыми—надо это признать—литературными, не до конца отдавали себѣ отчетъ въ истинномъ смыслѣ своей поэтической борьбы.

Они замыкались въ своеобразное «государство въ государствахъ» и плотно прихлопывали дверь ведущую въ «жизнь». Бушующую, вокругъ нихъ, стихію они наивно называли социологіей.

Эти люди, несомнѣнно, должны были ощущать въ себѣ, съ должной уединенностью, нѣкоторую недолжную уединенность, и, можетъ быть, были тревожимы прикосновеніями совѣсти. Они не хотѣли, или исторически не могли, широко распахнуть *другія* двери, ведущія, изъ ихъ надежнаго уединенія, въ жизнь безъ ковычекъ.

Нѣтъ ничего болѣе обиднаго, какъ основное противопоставленіе гражданской поэзіи—поэзіи «искусства для искусства». И надо сказать, что поэты «искусства для искусства» ничего не сдѣлали для открытія въ себѣ ощущенія этой обиды. Они не дали настоящаго плода литературной жизни, потому что не открыли дверей въ настоящую жизнь, не смогли принять ее единственно-литературно: *остаться въ ней рядомъ со всѣми людьми.*

Но не обвинимъ ихъ поэтически,—они чувствовали эту *другую дверь* своей одинокой флорберовой башни.

Надлежитъ выяснитъ еще одно можетъ быть недоразумѣніе: въ зломъ манифестѣ какой-нибудь литературной школы мы отвергаемъ не только злобу, но мы отвергаемъ и манифестъ.

Мы считаемъ, что манифестъ, даже хорошій, есть ввoдъ въ литературу чего то, ничего общаго съ литературой не имѣющаго.

Литература не нуждается въ манифестномъ повышеіи голоса ни при какихъ обстоятельствахъ. Въ немъ нуждается только человѣкъ еще не почувствовавшій себя поэтомъ.

Не оправдать, а объяснить себя можетъ слабость этого поэта-человѣка.

Пусть же поймутъ реальную слабость нашихъ теоретическихъ почти пунктовъ. — Мы ее понимаемъ.

Главное же обоснованіе «Благонамѣреннаго» въ томъ, что печатающіеся въ немъ его сотрудники имѣютъ собственное обоснованіе благонамѣренности.



Поэзия

ДВА СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

Летитъ паровозъ, клубится дымъ.
Подъ нимъ снѣгъ, небо надъ нимъ.

По сторонамъ лишь сосны въ рядъ
Одна за другой, въ снѣгу стоятъ.

Въ вагонѣ полутемно и тепло.
Запахъ эфира донесло.

Два слабыхъ голоса, два лица.
Воспоминаніямъ нѣтъ конца.

«Милый, куда ты, въ такую рань?»
Поѣздъ останавливается. Любань.

«Ты будешь счастливъ, теперь, сейчасъ,
Она на вокзалѣ и встрѣтитъ насъ!..»

Два слабыхъ голоса, два лица.
Нѣтъ на свѣтѣ надеждамъ конца.

Но вдругъ на вздрагивающее полотно
Настежь дверь и настежь окно.

«Нѣтъ, не доѣду я никуда!
Нѣтъ, я не увижу ее никогда!

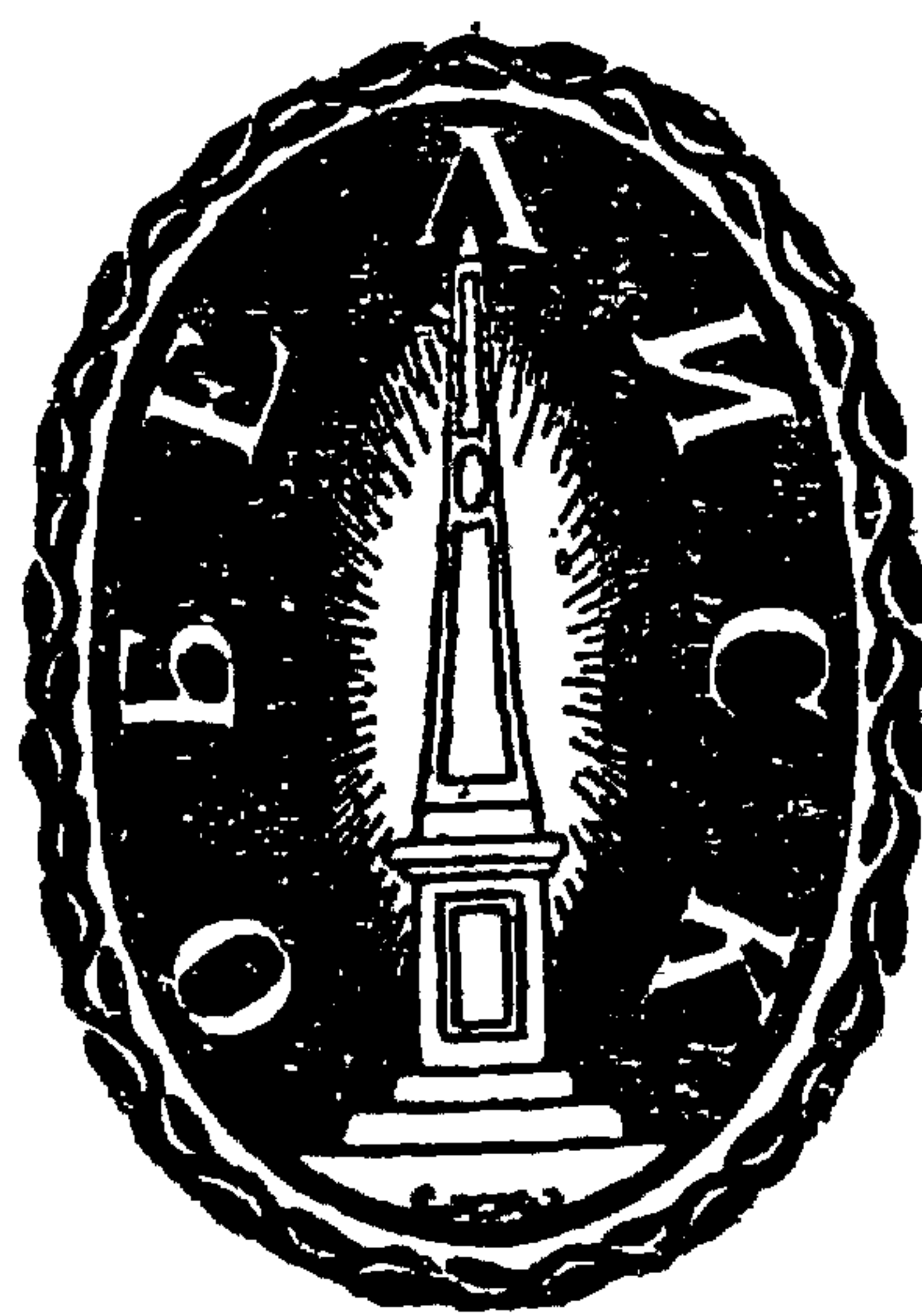
О, какъ мнѣ холодно... Прощай, прощай!
Надо мной вѣчный свѣтъ, надо мной вѣчный рай!»

II.

Разсвѣтъ и дождь. Въ саду густой туманъ.
Оплывшія отъ вѣтра свѣчи.
Газеты. На полу раскрытый чемоданъ.
Чуть вздрагивающія плечи.

Ни слова о себѣ. Ни слова о быломъ.
Какія мелочи, все то что съ нами было!..
— И солнце, наконецъ, косымъ лучомъ
Съдую прядь позолотило.

Георгій Адамовичъ.



МАНІЯ ПРЕСЛѢДОВАНІЯ

Такъ лѣчатъ душу: выскажи скорѣ
Насильно вслухъ необоримый страхъ —
И рухнетъ онъ подрубленною реей,
Сойдетъ съ пути и обратится въ прахъ.

Стихотворительное одержанье,
Языкъ боговъ, гармонія кометъ!
Безсонный клинъ, сознательное ржанье
Моихъ разлукъ, моихъ плачевныхъ смѣтъ.

О томъ что знаю и чего не знаю,
Перо, тебѣ докладываю я.
Съ тобой теперь поминки начинаю
По злой тревогѣ моего житья.

Боюсь другихъ въ моемъ безсильномъ
Хоть и они хлопчутъ точно я
Подобные оплеваннымъ разсылнымъ
На площади рябого бытія.

И вотъ во мнѣ поетъ моя обуза,
Внутри грохочетъ манія моя
И мелкій шаръ какъ сердце тонетъ въ лузу,
Подстрѣленное властію кія.

Смотри меня черезъ очки незрячей
Могучей безпорядочной любви,
Твоей души горячей ключъ горячій
Себѣ на помощь страстно призови.

Застѣнчивая рѣчь: Душа дрянная!
Ты какъ моя похабна и нища,
Ты колобродишь, сѣмена роняя,
Безпочвенныя сѣмячки луца.

Но ты покрыта толстою корою
Святыхъ трудовъ и совершенныхъ дней. —
Вотъ разговоръ, который ты порою
Съ душой ведешь, съ ней говоря о ней.

Такъ подари меня любовью нужной,
Преслѣдовательный разбей недугъ,
Страхъ расколи рукой доброподружной,
Заботливымъ рисункомъ бровныхъ дугъ.

Александръ Гингеръ.



Зимой и лѣтомъ одиноко
И въ тайномъ холодѣ живу —
И жутко видѣть летъ высокій
Незримыхъ духовъ наяву.

Мнѣ страшно, вечеромъ забывшись,
Почуять взоры за спиной,
Склонясь надъ памятью не бывшихъ
И дней не перейденныхъ мной.

Мнѣ страшно въ зеркалѣ увидѣть
Со мною рядомъ нѣкій свѣтъ,
Который люди ненавидятъ,
Которому названья нѣтъ.

Всего страшнѣй — въ смятеніи улицъ
Понять что грѣшныхъ губъ моихъ
Крыло небесное коснулось,
Какъ нѣкій свѣтоносный вихрь.

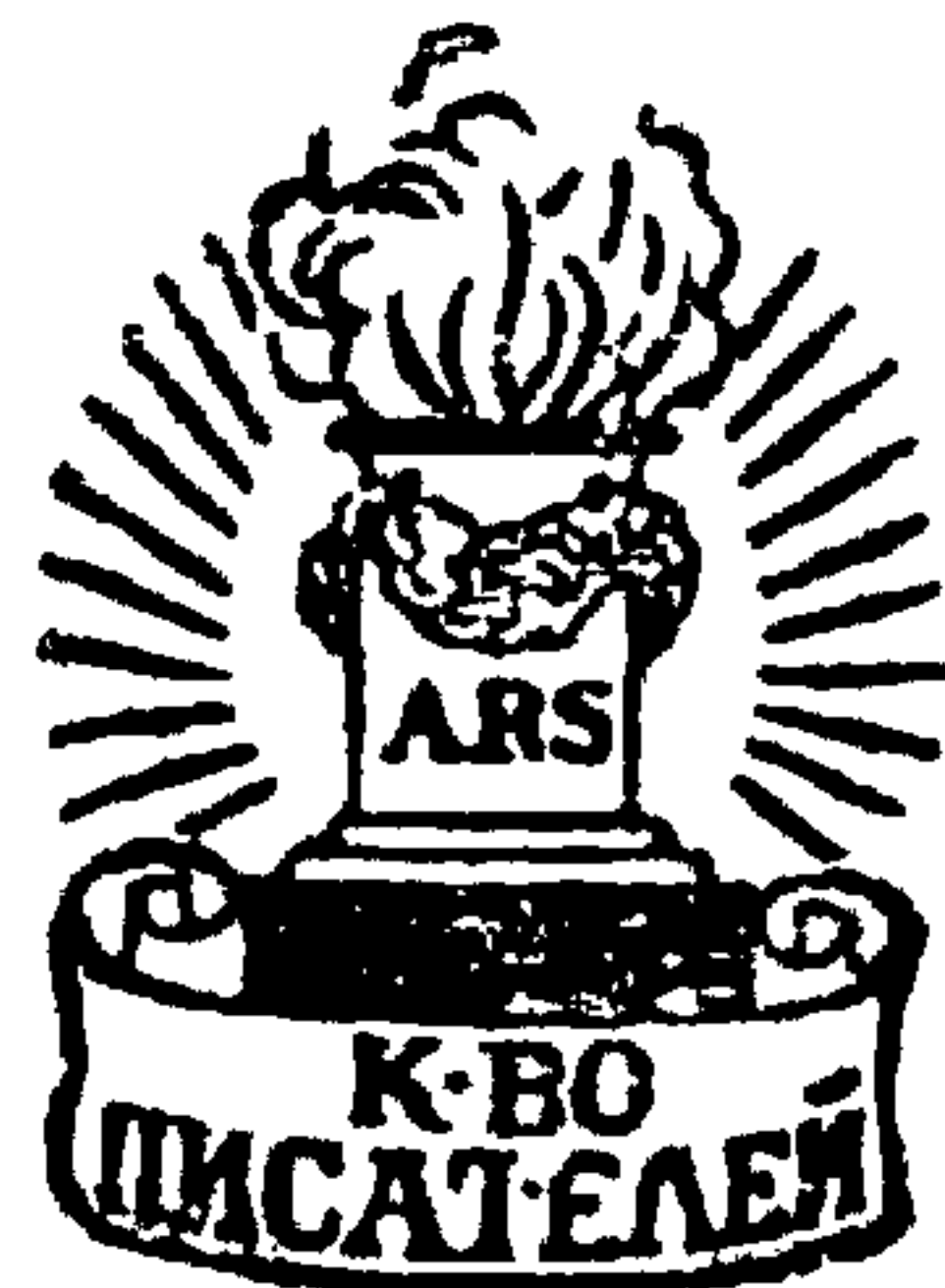
Въ прямыхъ чертахъ оконной рамы
Плетется облачная сѣть...
Живу тайкомъ. И строю храмы,
Гдѣ херувимы будутъ пѣть.

Хожу по улицамъ устало.
Смотрю во многіе глаза.
Молюсь — дабы не миновала
Меня завѣтная гроза.

Предавши душу всѣмъ народамъ,
Въ плѣну земли, въ плѣну земномъ
Дышу небеснымъ кислородомъ
И, строя храмъ, живу тайкомъ.

Слова и сны текутъ какъ яды.
Любовь и гнѣвъ пьянѣй вина.
Но тихо теплится лампада
И Богъ одинъ, и цѣль ясна.

В. Диксонъ.



С Т А Н С Ы

1.

Какъ ледъ наше бѣдное счастье растаетъ,
Растаетъ какъ ледъ, точно камень утонетъ...
Держи если можешь — оно улетаетъ,
Оно улетитъ и никто не догонитъ...

2.

Напрасно пролита кровь
И грусть и доблесть напрасна.
Мой ангелъ, моя любовь
И все таки жизнь прекрасна.

Деревья слегка шумятъ
И чайки кружатъ надъ нами
Огромный морской закатъ
Бросаетъ косое пламя...

3.

Забудуть и отчаянье и нѣжность
Забудуть и блаженство и измѣну, —
Все скроетъ равнодушная небрежность
Другихъ людей, пришедшихъ намъ на смѣну.

Жасминъ въ цвѣту. Забытая могила...
Сухой вѣнокъ на вѣтрѣ будетъ биться
И небеса сіять: все это было
И это никогда не повторится!

Георгій Ивановъ.



Почувствовать свое предназначенье
Сгибать мечту, какъ самый страстный лукъ,
И падать въ раскаленное теченье
Неутоляемыхъ лѣтами мукъ.

Всю жизнь слѣдить съ берегового вала
Нездѣшняго круженье корабля...
Мнѣ — правнучкѣ упрямаго Дедала —
Отмѣрена смиренная земля.

Переживу послѣднее смятенье
Восплачутъ обо мнѣ колокола,
И полетитъ съ высокимъ, вольнымъ пѣньемъ
Моя освобожденная стрѣла.

Воображеніе, меня упорно ты
Вернуть пытаешься въ могильный садъ.
Посмертнымъ мраморомъ листы развернуты
Листою палою слова шуршать.

Веди же за руку по ветхимъ лѣстницамъ,
Крестами бѣлыми крести холмы;
Уже не нужно намъ ни дней, ни мѣсяцевъ
Настоемъ маковымъ хмѣлѣемъ мы...

Пока натѣшишься, пока наплачешься,
Стенаньемъ траурнымъ страстныхъ вѣсовъ,
Кудрями черными мнѣ въ горсти катишься
И стынешь стрѣлками ночныхъ часовъ...

...Но не было любви.

Упрямо прядь скользнула по ладони,
И пѣсни отступили, какъ струи,
Которыя голодный вѣтеръ гонить.

Бѣги. Бѣги... По улицамъ въ тѣни,
По золотымъ сплетеніямъ платановъ,
По гребнямъ разъяренныхъ океановъ
Тенета паутиновыя мни.

Иди къ другимъ. Пророчествуй. Живи.
За мною не влачись воспоминаньемъ
И именами новыми зови
Мое сіянье...

Галина Кузнецова.



Стихи отъ сердца сердцу вѣсть
Въ нихъ все необычайно
Старайся между строкъ прочесть
Божественную тайну.

И не печалься что давно
Я писемъ не писала
Осенній дождь стучитъ въ окно
А мнѣ и горя мало.

Хоть я твоихъ не вижу глазъ
Но сердцемъ сердце слышу
Какъ будто ангелъ въ тихій часъ
Слетѣлъ ко мнѣ на крышу.

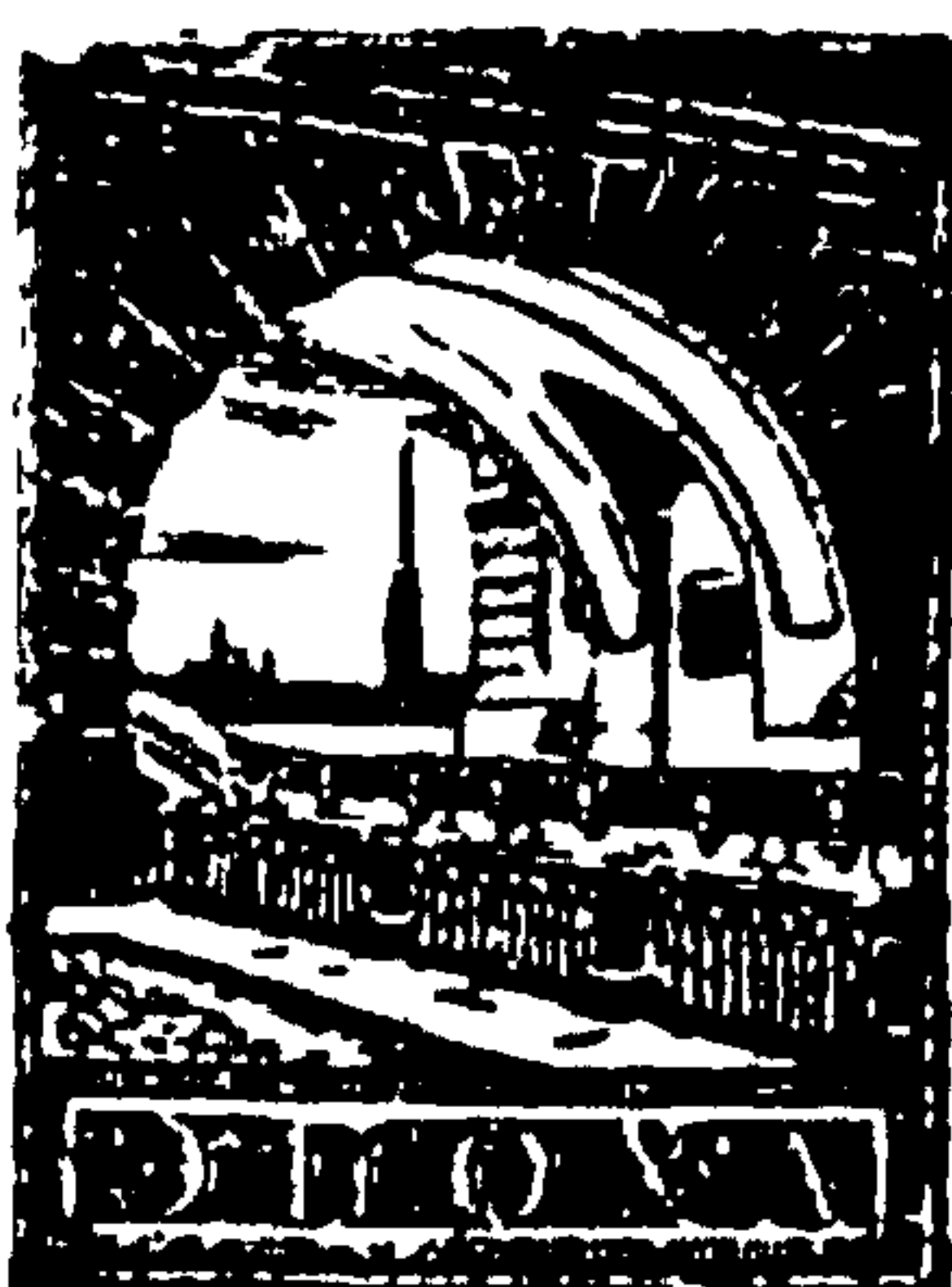
Я помню только всего
Вечеръ осенняго дня
Я провожала его
Поцѣловаль онъ меня.

Желтѣло пламя свѣчи
Я плакала отъ любви
— По лѣстницѣ не стучи
— Дворника не зови.

— Прощай, прощай! О тебѣ
Я буду плакать всегда.
... По водосточной трубѣ
Съ шумомъ бѣжала вода.

Ему я глядѣла вслѣдъ
На мокромъ сидя окнѣ...
Мнѣ было пятнадцать лѣтъ
И это приснилось мнѣ.

Ирина Одоевцева.



ДУША

Ты легкимъ поцѣлуемъ тронешь
Разгоряченные виски,
Ты руки медленно уронишь
Какъ яблонные лепестки.

И я услышу тотъ упрямый,
Невѣроятный, легкій звукъ —
Дрожанье звѣздъ вотъ тутъ, надъ самой
Дугой твоихъ склоненныхъ рукъ.

И я увижу у предѣла
Два бѣлыхъ ангельскихъ крыла:
Душа опередила тѣло
И легкая осиротѣла,
И легкая изнемогла.

Бываетъ такъ: не наоборотъ
Прилива нѣжности высокой,
Когда у темнаго порога
Тоскуеть духъ и кличетъ плоть.

А плоть нейдетъ на этотъ зовъ
И духъ томится ненасытный,
Его сжимаетъ пламень скрытный
Томительныхъ и странныхъ сновъ.

Какъ будто ощупью, впотьмахъ,
Руками ищетъ онъ опоры
И тщетно устремляетъ взоры
Во тьму изъ коей смотритъ страхъ.

Глѣбъ Струве.



МАРИНА

Димитрій! Марина! Въ мірѣ
Согласнѣе нѣту вашихъ
Единой волною вскинутыхъ,
Единой волною смытыхъ
Судебъ! Именъ!

Надъ темной твоею люлькой,
Димитрій, надъ люлькой пышной
Твоею, Марина Мнишекъ,
Стояла одна и та же
Двусмысленная звѣзда.

Она же надъ вашимъ ложемъ,
Она же надъ вашимъ трономъ
— Какъ вкопанная — стояла
Безъ малаго — цѣлый годъ.

Взаправду ли знакъ родимый
На темной твоей ланитѣ,
Димитрій — все та же черная
Горошинка, что у отрока
У рѣднаго у царевича
На смуглой и круглой щечкѣ
Смѣясь цѣловала мать?

Воистину ли, взаправду ли —
Намъ сызмала дѣды сказывали
Что мертвыхъ судить — не намъ.

На нѣжной и длинной шеѣ
У отрока — ожерелье
Надъ свѣтлыми волосами
Пресвѣтлый стоитъ вѣнецъ.

Въ Марѣиной черной кельѣ
Ярое ожерелье
— Солнце въ ночи! — горить.

Памятливыми глазами
Впилась — народъ замеръ.
Памятливыми губами
Впилась — въ чей? — ротъ.

Сама инокиня
Признала сына!
Какъ же ты — для насъ — не тотъ!

Марина! Царица — царю!
Звѣзда — самозванцу!
Тебя пою,
Злую красу твою,
Ликъ безъ румянца!
Во славу твою грѣшу
Царскимъ грѣхомъ гордыни.
Славное твое имя
Славно ношу.

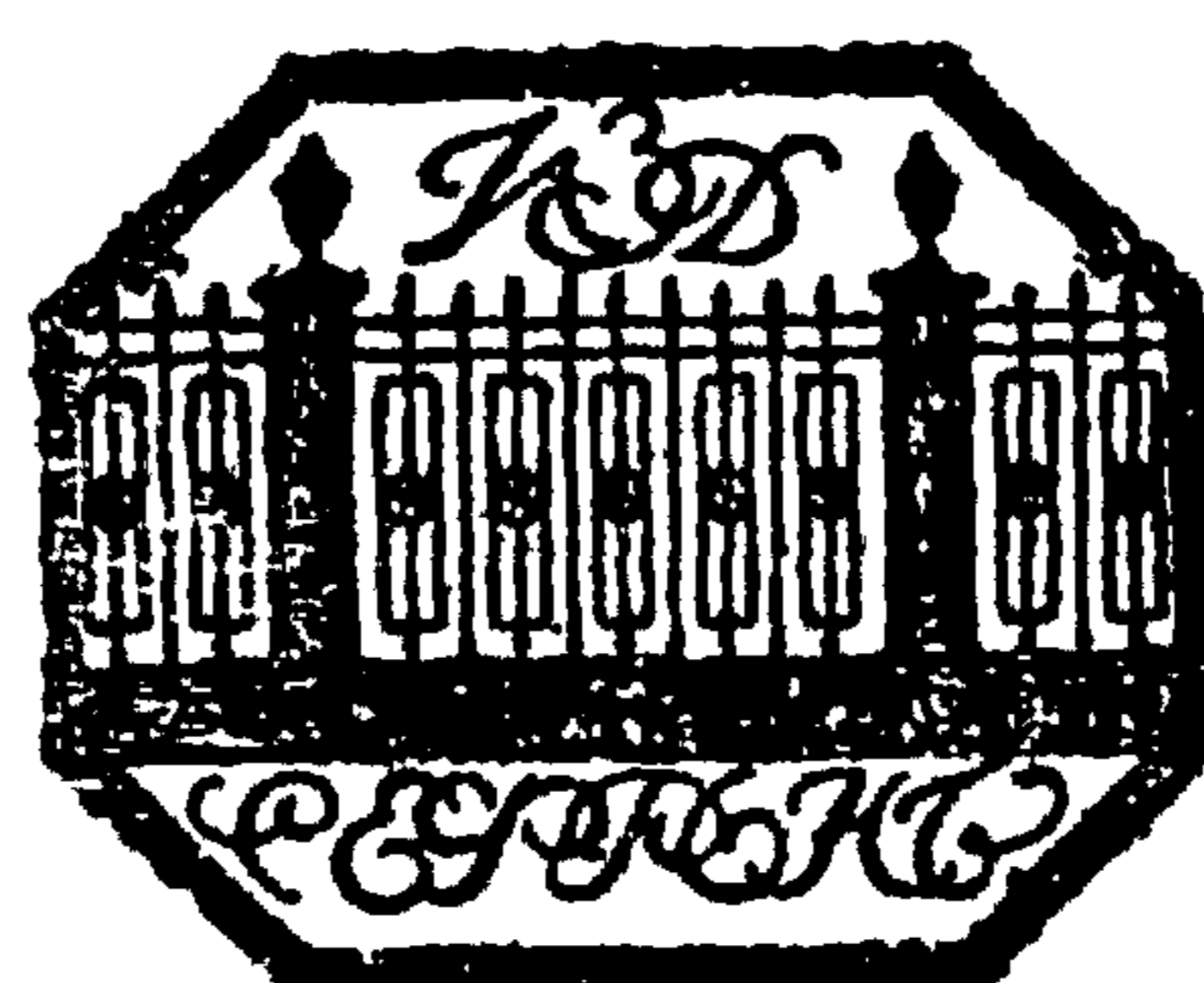
Править моими бурями
Марина — Звѣзда — Юрьевна,
Солнце среди звѣздъ.

Крестъ золотой скинула,
Черный ларецъ сдвинула,
Масломъ святымъ ключъ
Масленный — легко движется.
Черную свою книжищу
Вынула чернокнижница.

Знать уже дѣлать нечего
Отошелъ отъ ея плечика
Ангель, пошелъ несть
Господу злую вѣсть:
«Злыя, Господи, вѣсти:
Загубилъ ее воръ-прелестникъ!»

Марина! Димитрій! Въ мирѣ,
Мятежники, спите, милые.
Надъ нѣжной гробницей ангельской
За васъ, въ соборѣ Архангельскомъ,
Большая свѣча горитъ.

Марина Цвѣтаева.



Проза

ПОСЛѢДНІЙ ЭКЗАМЕНЪ

... кромѣ крутины надлежитъ опасаться и того, чтобъ съ раскату о дерево не удариться, что часто съ крайнею опасностію жизни приключается.

(С. Крашенинниковъ "Описаніе земли Камчатки". Въ Санктпетербургѣ 1755 г.).

Человѣкъ, отъ котораго кто-то ушелъ и которому послѣ этого не къ кому пойти, — волею-неволею, какъ это ни скучно, уходитъ въ себя. Изъ города же, въ которомъ кто-то ушелъ отъ человѣка, обычно уѣзжаютъ. Такъ бываетъ въ книгахъ и такъ бываетъ въ жизни. Въ книгахъ это довольно интересно, въ жизни же — очень тяжело и скучно.

Когда я былъ въ четвертомъ классѣ реального училища и Надя меня разлюбила, я сначала очень хотѣлъ застрѣлиться, но потомъ просто забросилъ подъ парту учебники, всю свою жизнь и уѣхалъ съ первой парты — далеко — на Камчатку, откуда сумрачно молчалъ на всѣ вопросы географа о столицѣ Франціи. И осенью — на экзаменахъ — я провалился...

Теперь, когда масштабъ моей жизни увеличился на нѣсколько миллиметровъ, а ростъ мой — на полъ метра я дѣлаю все въ болѣе значительномъ масштабѣ, — и когда ты ушла отъ меня съ кѣмъ-то, я перекочевалъ уже не съ первой парты, а изъ Парижа, и не на послѣднюю парту, а сюда, въ столицу льдовъ, на 160-й градусъ великой долготы. И осенью — у меня экзаменъ.

Я не знаю твоего новаго адреса, Анна, (да и не хочу его знать!) и поэтому пишу тебѣ черезъ журналъ, — въ надеждѣ, что никто другой не полюбопытствуетъ прочесть эти строки. Развѣ интересно кому-нибудь знать, что послѣ того вечера въ

Парижѣ, когда я въ послѣдній разъ смотрѣлъ на довольно затѣйливый дымокъ милой, любимой — его! — сигары, — у себя дома я подошелъ къ картѣ двухъ полушарій, закрылъ глаза, и сдѣлалъ нѣсколько дикихъ прыжковъ по комнатамъ, нѣсколько великолѣпныхъ па ту-степа, которые даже тебя, такую тонкую цѣнительницу модныхъ танцевъ, привели бы въ искренній восторгъ. Сдѣлавъ нѣсколько антреша, я ткнулъ пальцемъ въ карту. Открывъ глаза (естественно, что “открывъ“, ибо съ закрытыми глазами видитъ только слѣпой, — это я объясняю тебѣ, — тебѣ, Анна! — вамъ не нужно), — я увидѣлъ, что мой палецъ закрываетъ одинъ изъ острововъ въ семьѣ господъ Курильскихъ.

Черезъ два мѣсяца, оторванный отъ всего міра, какъ мой островъ Алаидъ отъ Камчатки, я погрузился въ снѣжное молчаніе сдавленныхъ тоскою горъ. Если ты откроешь одну старинную русскую книгу, то поймешь отчего я долгій годъ, грѣя свое перо у ночного камелька, и свою замерзающую чернильницу, отчего я такъ долго молчалъ... Въ тишину своей бревенчатой избы на Курильскихъ островахъ я перенесъ изъ Европы — плодъ ея тысячелѣтней культуры: твою маленькую карточку изъ паспорта съ французской визой. Сохраняя свои авторскіе права на мою жизнь, ты поставила себя на мой письменный ящикъ, гдѣ я пишу свою первую книгу, свою экзаменціонную работу — о тебѣ — большого масштаба.

Мой корякъ, покляпый носъ и волосы распустя, — который прислуживаетъ мнѣ и моей книгѣ, часто, не прикасаясь руками, разсматриваетъ твое лицо. Онъ никогда не видѣлъ ничего, кромѣ “тарелки“ своей жены, и поэтому восторженно прищелкиваетъ языкомъ подъ раскатистымъ взоромъ твоихъ глазъ. А иногда и я (улыбнись, — улыбнись, Анна!) вторю ему и мы оба, берясь за руки, танцуемъ вокругъ ящика священный танецъ любви... У него есть свой богъ, богъ Кутъ, и въ первые дни моей здѣшной жизни онъ часто ходилъ въ ложбину, образовавшуюся, по преданію, отъ того, что богъ Кутъ по этому мѣсту таскалъ за волосы свою жену, — и тамъ, потонувъ въ снѣгу, мой корякъ молился Куту... Но съ теченіемъ времени онъ сталъ рѣже ходить въ ложбину, въ свою свя-

щенную падь, и чаще танцевать вокругъ моего ящика. Онъ измѣнилъ своему богу — онъ сталъ еретикомъ... Все чаще и чаще его поклепный носъ задыхается въ новой религіи и чаще въ минуты моленій онъ требуетъ отъ меня разсказа о твоёмъ святомъ житіи. Но если ты откроешь одну старинную русскую книгу, то поймешь почему я молчу, почему всегда говорю шопотомъ, почему вся моя книга и вся моя жизнь на Алаидѣ проходитъ шопотомъ: “Оная падь весьма узка и простирается между высокими и толь крутыми каменными горами, что на нихъ снѣгъ едва держится, такъ что отъ самага малаго ударенія, каково бываетъ отъ громкаго голосу, скатывается слоями и подавляетъ проѣзжихъ, чего ради коряки, которые все опасное за грѣхъ почитаютъ, за великое вмѣняютъ преступленіе, вѣдучи сею падью говорить громко”.

Но если я все-же встревожу — на своемъ послѣднемъ экзаменѣ — слишкомъ громкимъ голосомъ любви твое имя, снѣгами распростертое на горахъ Алаида и, преступный проѣзжій, буду “подавленъ” снѣжными скалами, — знай, что здѣсь, у подножія Алаида, — нѣтъ, у подножія твоего лица, сжимая въ корявой рукѣ и въ вшивыхъ губахъ (“коряки — весьма вшивы и вши свои вѣдятъ”) тихое слово любви, молится твой лучшій поклепный апостоль. И, если я никогда не выберусь изъ твоихъ снѣжныхъ заносовъ — пріѣзжай изъ парижскаго метрополитена сюда и, небесная, обручись ледянымъ перстнемъ съ своимъ земнымъ вѣрноподаннымъ, хотя бы только изъ любви къ поэзіи русскихъ символистовъ. Если онъ заговоритъ о своемъ старомъ хозяинѣ, скажи ему, что я переступилъ священный законъ молчанія, завѣщанный міру коряками — и потому достойно наказанъ.

Но — ахъ — прости, любезная Анна, за такое сентиментальное отступленіе — не одинъ Карамзинъ былъ рабомъ пера своего. И къ тому же все письмо мое — это только отступленіе, — такъ позволь же и дальше отступать мнѣ... пока не оступлюсь.

Когда я пришелъ сюда съ чемоданомъ, въ которомъ лежали твоя карточка и браунингъ, — и предъявилъ богамъ, тюленямъ и людямъ Алаида свои студенческіе документы изъ

Сорбонны, они нехотя приняли меня въ подготовительный классъ первой ступени. И вотъ теперь, съ прилежаніемъ тупого новобранца, я учусь у боговъ — мудрости, у тюленей — любви и у коряковъ — жизни.

Я уже хорошо вызубрилъ — до боли въ зубахъ — я хорошо знаю, когда румянымъ утромъ на горизонтѣ развертывается павлиній хвостъ, что это жена бога, кокетливая Завина, румянится въ зеркалѣ Охотского моря въ ожиданіи своего супруга. Но когда хмурится востокъ и свивается павлиній хвостъ, я горестно знаю, что супругъ Завины еще не вернулся въ свою юрту, что Завина тоскуетъ и туманится — и потомъ съ досады — разомъ — дождемъ — смываетъ свои румяна и разбиваетъ зеркало на огромные стосаженные морскіе валы. А задышетъ сильный вѣтеръ — это ея долгожданный супругъ высунулъ изъ облаковъ свою кудрявую голову, качаетъ ею и своими длинными волосами гонитъ тучи по небу и снѣжную пыль по землѣ. Когда же неуклюже и тяжело — съ облаковъ на облака — перевалится громъ, — это — не бочки съ камнями катаютъ за кулисами, какъ учили меня въ Сорбоннѣ, — а самъ отецъ боговъ, великій Кутъ, гремя перетаскиваетъ лодки съ рѣки на рѣку — или, когда раздастся одинъ пустой и крѣпкій громовой ударъ, я знаю, что Кутъ въ сердцахъ бросилъ о земь свой бубень. Но когда здѣсь, на землѣ, коряки перетаскиваютъ свои лодки съ рѣки на рѣку, то — тамъ — Кутъ, перепуганный земнымъ громомъ, поспѣшно прячетъ дѣтей своихъ въ юрты. И когда, наконецъ, къ Завинѣ приходитъ супругъ и въ тишинѣ расцвѣтаетъ радость свиданія, то на небѣ — радуга — это только новая разсамачья шуба съ подзоромъ и съ красками, которую Кутъ, смокшіи подъ дождемъ, надѣваетъ на радостяхъ.

Не подумай, Анна, что эти слова о тебѣ, что я пишу о любви и о красотѣ разсамачьеи шубы — я говорю о мудрости боговъ и о томъ, что, опаздывая на свиданіе, они никогда не жалуются на свою портниху. И еще о томъ, что здѣшніе женщины передъ любовнымъ свиданіемъ съѣдаютъ живого паука и, чтобы не быть такой холодной, какъ ты, горячатъ и согрѣваютъ себя болотной травой — *surperoides* (если хочешь могу

тебѣ прислать). И еще: тюлени, спасаясь отъ людей, любви и смерти, плюютъ передъ собою, чтобы ихъ дорога была болѣе скользкой и гладкой. И я, Анна, плюнулъ бы на весь міръ, лишь бы спастись отъ тебя.

Скоро послѣдній экзаменъ... Сижу и сосу монпансье (тоже послѣднее) въ перемежку съ мундштукомъ. Можетъ быть для развлеченья съѣмъ пару гольцевъ, напоминающихъ вкусъ вашей ветчины. Освѣжу свою голову снѣгомъ, поправлю въ зеркалѣ усы — это на тотъ случай, если промелькнетъ мысль о возможности твоего прихода. Во рту — смѣсь никотина съ сахариномъ — характерный привкусъ жизни. Ахъ какъ хорошо было бы почистить зубы.

Счастлива ли ты, моя любезная Анна? Наладилась ли ваша семейная жизнь? Если вѣрять медицинѣ и Богу, то именно теперь ты должна одарить — его — ребенкомъ, — или нужно вѣрять только медицинѣ?

Я видѣлъ недавно ящерицу. Ящерица — шпионъ изъ подземнаго міра и предсказываетъ смерть. Я убилъ ее, чтобъ не подглядывала въ мою жизнь — ибо этому я учусь здѣсь. Нѣтъ худа безъ добра. Есть только подлость съ любовью — только это не я говорю — пословица такая...

Скоро экзаменъ большого масштаба. Есть у меня все же одна лазейка къ бѣгству отъ тебя — но пусть: спокойно лежитъ въ чемоданѣ.

Человѣкъ, который ушелъ въ себя, говоритъ тебѣ, Аннѣ: самыя прекрасныя строчки въ русской литературѣ написаны Смердяковымъ: „Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить“.

Б р о н и с л а в ъ С о с и н с к і й.



СЛУЧАЙ СЪ ХУХРИКОВЫМЪ

Когда надъ нимъ смѣялись за его фамилію, онъ никогда не обижался. Только фыркалъ, уходилъ острымъ подбородкомъ въ широкій, сальный воротничекъ и грозилъ длиннымъ, худымъ пальцемъ съ желтымъ ногтемъ.

— Вѣрю, вѣрю. Мнѣ и самому смѣшно, да что подѣлаешь! — говорилъ этотъ длинный, худой палецъ. И палецъ былъ правъ: было смѣшно.

Фамилья того, кому онъ принадлежалъ, писалась Хухриковъ.

И у Хухрикова, Аѳанасія Ефимовича, были свои радости, свое горе было и, главное, тоже было: своя собственная жизнь. Кромѣ этого другой собственности не было у Аѳанасія Ефимовича.

Служилъ на товарномъ складѣ московско-казанской желѣзной дороги, въ томъ отдѣленіи гдѣ принимались товары, посылаемые малой скоростью. И работа Аѳанасія Ефимовича заключалась въ томъ, чтобы на особыхъ, большихъ и особеннымъ образомъ разграфленныхъ листахъ, когда вѣсовщикъ Деминъ, вѣшая большіе, неуклюжіе ящики покрикивалъ: “Тридцать два... Сызрань... по шестому... платформа... пять”, — превращая эти отрывистые выкрики въ четко выведенныя цифры, разставлялъ ихъ по различнымъ графамъ.

Хухриковъ жилъ около самаго вокзала въ Южномъ переулкѣ, на четвертомъ этажѣ закопченнаго, отъ паравознаго дыма, тяжелаго зданія. Жилъ въ крошечной каморкѣ, выходящей окномъ не во дворъ даже, а просто въ каменную, грязную стѣну, аршина на два отстоящую отъ его окна.

Тамъ, за этой стѣной помѣщался общій нужникъ для флигельныхъ жильцовъ и, часто, затянутое паутиной, мутное окошечко нужника отворялось.

Аѳанасій Ефимовичъ зналъ, что канализація постоянно не работала во флигилѣ, а народу было много. Этимъ объяснялъ онъ причину смрада въ своей комнатѣ.

Желто-бурыя обои, мѣстами просиженныя, словно были захватаны жирными пальцами, а низкій потолокъ, на которомъ сидѣла плотно паравозная и табачная копоть и при этомъ, въ лѣтнюю пору, нестерпимо гадили мухи — цвѣтъ потерялъ давно.

Тощая стояла кровать и когда по настоящему требованью сосѣда, отставного поручика Зерцалова, принялась хозяйка выводить во всей квартирѣ животныхъ, и въ комнатѣ Хухрикова появилась съ новоизобрѣтеннымъ греческимъ порошкомъ “Арагацъ!” (на этикеткѣ стояло съ восклицательнымъ знакомъ), Аѳанасій Ефимовичъ испуганно руками замахалъ: — Нѣтъ, нѣтъ, матушка, ужъ увольте! Право не надо; мѣшаютъ не больно...

Умывальникъ всегда окурками полонъ и рыжеватомыльной стоячей водой, отъ которой тоже пахло нехорошо. Столъ, покрытый черной клеенкой, — растресканной.

Никогда со стола стаканъ не исчезалъ на голубомъ блюдцѣ съ золотымъ обрѣзомъ; стаканъ недопитаго чаю съ плохо размѣшаннымъ сахаромъ на днѣ. На блюдцѣ, иногда, медленно тлѣлъ, иногда просто потухшій лежалъ, жеванный окурокъ “Дюшесъ” фабрики Дукать.

Входя въ эту комнату вечеромъ, когда на зеленомъ шнурѣ, безъ колпака, лампочка въ 9 свѣчей горѣла рыжо, можно бывало застать и того, кто нашелъ въ ней временное убѣжище.

А у него былъ только одинъ костюмъ, гороховый въ искру и, хотя въ комнатѣ большую часть года во всѣ щели дуло отчаянно, онъ хранилъ его бережно пятый годъ, а спать предпочиталъ безъ костюма. Поверхъ тонкаго, отъ ветхости скользкаго одѣяла, укрывался своимъ длиннымъ полупальто (отчего то такъ называлось) съ двумя пуговицами на спинѣ, а костюмъ развѣшивался на стулѣ бережно.

Но до той минуты, какъ ложился Хухриковъ, костюмъ бывалъ на немъ, а онъ, сидя на стулѣ и жуя папиросу, часто

потухшую, читалъ Московскій Листокъ или серію книжиць “Путилинъ — звѣзда русскаго сыска”.

Тщедушный и малenkій былъ Хухриковъ, а большая голова съ цѣлой щеткой волосъ и отвислыми ушами, словно лопухи, сужалась книзу заострясь и постепенно сходила на нѣтъ въ воротничкѣ. Онъ брился, но разъ въ недѣлю у парикмахера Писурикова, что въ Уланскомъ переулкѣ и поэтому на впалыхъ, веснушчатыхъ щекахъ, шесть дней въ недѣлю рыжая щетина торчала.

У Хухрикова конечно было и лицо, но удивительно, что это происходило, какъ-то само собою и важности не представляло.

Понятно было... и все. Чего еще тамъ?

Но вотъ и комната, и кровать, и даже костюмъ гороховый въ искру, который пять лѣтъ тому назадъ или около того пожертвовалъ поносить кто-то изъ отдѣленія большой скорости и кажется забылъ объ этомъ, или вѣрнѣе умеръ, — все это было не его. Развѣ только вотъ папиросы Дюшесъ: 6 копѣекъ десятокъ.

Получалъ Хухриковъ восемнадцать рублей двадцать три копѣйки въ мѣсяцъ.

И вотъ одно только! Деминъ то, вѣсовщикъ, меньше получалъ, а какъ-то всегда между дѣломъ стянуть что-то умѣлъ, и тогда молча восторгался Хухриковъ. И самому стянуть хотѣлось бы, но вотъ какъ нарочно это! и работа такая, что подъ руку ничего не попадало и опаздывалъ всегда. И только разъ (и то давно) пятнадцатый со стола бухгалтерскаго унесъ, но и то потерялъ на улицѣ.

До мѣста службы проходилъ Хухриковъ ровно шестьсотъ сорокъ два съ половиной шага. Это за тринадцать лѣтъ точно высчиталъ, но въ минутахъ путался, потому что никакъ не могъ выкупить часы изъ ломбарда, хотя проценты аккуратно платилъ.

Наступая по разу въ каждый квадратъ тротуара — шестьсотъ семнадцать шаговъ ровно выходило, если не считать одиннадцати отъ забора къ бараку по мосткамъ. А вотъ идя на обумъ, какъ нарочно — шестьсотъ сорокъ два съ половиной шага.

Отъ угла Каланчевской и до вокзала больше какъ разъ въ годъ не мѣняли плакатовъ. Аѳанасій Ефимовичъ наизусть ихъ всѣ зналъ, но читалъ каждый разъ. И когда чернаго арапа въ красномъ фракѣ и со щеткой, подъ которымъ большими буквами написано было «Кремъ Эклипсъ», а въ уголку скромно стояла подпись живописца вѣвѣсокъ «А. Шламовичъ», замѣнили синимъ моремъ съ голымъ купальщикомъ, причемъ сверху гласило «Шоколадъ Тиде», а снизу вмѣсто А. Шламовича расписался Д. Метцгеръ, — Хухрикову стало обидно и онъ покачалъ головой неодобрительно.

«Курите гильзы Катыка!», а внизу подписано Зубковъ 2-ой.
— Хорошо!

— Смѣющаяся рожа, эѳіопская вотъ ужъ седьмой годъ держится...

«Коньякъ А. Сараджева и К°»

— И К°, мысленно говорилъ Хухриковъ, — молодецъ! Третій годъ! Видно хорошъ живописецъ Зубковъ 2-ой! Не то что Кремъ Эклипсъ...

А вотъ жалко негра въ красномъ фракѣ съ ваксой. А вакса должно хорошая!

И когда уже пересталъ арапъ красоваться на заборѣ, какъ то и не утерпѣлъ Хухриковъ. Три года ходилъ, завѣтную мечту вынашивая. Однимъ глазомъ на лавку косясь мимо прохаживалъ и наконецъ зайти рѣшился и зашелъ.

— Почемъ Эклипсъ?

— Сорокъ пять копѣекъ.

— Гмъ... сорокъ пять... Ну мерси. Я того — подумаю.

— Какъ знаете, только осмѣлюсь доложить...

Уже собирался уходить Хухриковъ, но какъ ужаленный обернулся: — что-что?

— Не рекомендуемъ Эклипсъ. Рекламы много, а качество самое поскудное-съ... Вотъ кремъ Лельонъ, тридцать копѣекъ, а куды лучше — сказалъ приказчикъ.

Что онъ понимаетъ? Не видитъ развѣ, что никогда Хухриковъ не возьметъ Лельонъ? Вѣдь не въ томъ дѣло!

Сроднился за три года съ арапомъ-то въ красномъ фракѣ и во снѣ видѣлъ. И вотъ оказывается вдругъ какой-то Лельонъ дешевле и лучше!..

Хухрикову стало глубоко больно и обидно за арапа и за кремъ Эклипсъ.

— А можетъ вретъ приказчикъ? — пришло въ голову и нѣсколько успокоило. Но осадокъ остался тяжелый.

И вотъ сегодня, сидя за конторкой въ баракъ и слушая отрывистыя покрикиванья вѣсовщика Демина «сорокъ пять... Бронницы... по второму... вагонъ... три» — Хухриковъ думалъ, по какой причинѣ можетъ статься, что кремъ Лельонъ лучше, но дешевле.

— Сорокъ пять копѣекъ — мысленно повторялъ про себя, — сорокъ пять... гмъ...

А въ это время Демина, вѣсовщикъ, выкрикнулъ: — «Двиноста шесть!», а ящикъ гулко объ вѣсы бухнулъ.

Хухриковъ записалъ: — сорокъ пять.

Это въ первый разъ въ жизни случилось за тринадцать лѣтъ службы, но увы... и въ послѣдній.

Кажется отъ этого какая то крупная путаница произошла и фабрика Нечаева-Мальцева съ желѣзной дорогой судилась.

И какъ то все такъ быстро произошло, что и самъ не замѣтилъ, какъ это его со службы выгнали. Прямо таки въ шею и вытолкали. А вслѣдъ и хозяйка.

Недѣлку-то неужели подождать не могла? Вѣдь тринадцать лѣтъ живетъ человѣкъ!

Нѣтъ молъ, ступайте, ступайте...

Вотъ такъ и очутился на улицѣ.

Былъ конецъ ноября и хотя еще снѣгъ не выпалъ, морозъ лютый стоялъ и туманъ висѣлъ густой и мерзлый. Желтыми пятнами тусклые фонари чахоточно и зловѣще сквозь туманъ померкивали.

Брр!..

А въ карманѣ ни мѣднаго гроша. Дѣло было восемнадцатаго числа, а послѣдніе четыре дня до получки въ долгъ живать привыкъ, потому что денегъ не хватало. А теперь кто дастъ?

Разнесли вѣдь молву!

Да главное и просить не хотѣлось. Еще у Демина куда ни шло... Да гдѣ искать его въ ночную пору? Должно пьеть гдѣ...

По привычкѣ свои «шестьсотъ сорокъ два съ половиной» сталъ дѣлать, и остановился на половинѣ.

Туманъ — только. Мгла и холодъ пропитывающій. Иногда черныя тѣни мелькнутъ. Прохожіе, навѣрное.

Паровозы гудятъ протяжно и жалобно.

Отчего то вспомнилъ, какъ сердце его ныло, когда персюкъ на углу Каланчевки подъ шарманку «Отраву» горланилъ.

Эту пѣсню безъ слезъ не могъ онъ слушать.

Давно ужъ было дѣло. Отравилась Фроська въ публичномъ заведеніи. И съ чего пошла?

Егретъ молъ... вотъ оно! А у него трешницы на егретку не было. Вотъ какъ теперь, за два дня до получки. Сталъ было у дѣлопроизводителя клянчить, да не далъ горбачъ, въ фуражкѣ съ зеленымъ околышемъ и кокардой.

Выругалъ, выгналъ съ глазъ. Ну вотъ и ушла. Девять лѣтъ съ того. Тогда и радости кончились.

Разгудѣлись паровозики...

Конечно не виноватъ грузовикъ! Развѣ въ туманище этакій Хухрикова разглядишь?...

В О Д А

Если читающій нѣсколько озадаченъ будетъ узнавъ, что подъ этимъ названіемъ не океанъ подразумѣвается, не рѣка, и не болото даже, а классный надзиратель 6-ой классической гимназіи, — въ свою очередь и учительскій персоналъ, и учащіеся заведенія крайне бы оказались удивлены, если кто либо доказать бы имъ попытался, что Вода на самомъ дѣлѣ вовсе не вода, но Федоръ Антоновичъ Быкадоровъ.

Откуда, собственно говоря, происхожденіе свое взяло это прозвище — осталось и по сей день неизвѣстно. Столь же неизвѣстно, какъ и сокровенное его значеніе, какъ впрочемъ и значеніе и происхожденіе того, другого прозвища, которымъ по законамъ Россійской Имперіи, надзиратель могъ пользоваться относительно свободно.

Что, собственно говоря, хочетъ сказать слово «быкадоровъ» — неизвѣстно.

Правда на первый взглядъ невольно рисуется, что то кастильское. Вродѣ боя быковъ, пожалуй. Конкурируютъ понятія быка и тореадора. Испанскій колоритъ внѣ сомнѣнія, но врядъ ли, врядъ ли Испанія...

Зналъ ли надзиратель, что для гимназіи онъ Вода — сказать трудно, но думается — зналъ. Хотя бы потому зналъ, что стоило ему показаться въ дверяхъ классовъ, какъ съ переднихъ партъ неизмѣнно раздавался сигналъ: — „вода!“.

Конечно, если бы надзиратель глубоко задумался надъ вопросомъ и съ полной логической ясностью взвѣсилъ значеніе словъ „вода“ и „быкадоровъ“ — преимущества „быкадорова“ надъ „водой“ подверглись бы нѣкоторому сомнѣнію. А если

вопросъ разсмотрѣть съ точки зрѣнія фонетической, то внѣ сомнѣнія, „вода“ благозвучнѣе нежели „быкадоровъ“.

Это по логикѣ.

А вотъ внѣ логики было обидно. Что такое Вода?

Почему Вода?

А вотъ „что такое Быкадоровъ“ и „отчего Быкадоровъ“ — это какъ то въ голову не приходило.

Теперь со стороны. Извинѣ, такъ сказать.

Знаю ли я, что нынѣ, всякій себя уважающій писатель предположить обязанъ, что читающій — это полный дуракъ? Иначе говоря, объяснять или не объяснять — онъ все равно не пойметъ.

Отсюда выводъ: не объяснять.

Иные по другому формулируютъ. Это изъ за милосердія къ читателю. Дать ему въ наибольшей мѣрѣ поводъ къ самостоятельному образотворчеству.

Вотъ въ данномъ случаѣ я повинуюсь второй версіи и обязанность читающаго къ тому сводится, чтобы съ полной ясностью вообразить себѣ, что сынъ его находится въ числѣ учениковъ 6-ой классической гимназіи, а что онъ, читающій, иногда заходитъ въ гимназію за сыномъ или по поводу сына.

Вотъ тогда онъ и увидитъ, какъ по корридору 1-го этажа, гдѣ помѣщаются IV-й и V-й нормальные и паралельные классы, одиноко и безмолвно длинная, потертая фигура взадъ и впередъ шагаетъ.

Шагаетъ, и только изрѣдка, когда словно мартышечье отдѣленіе зоологическаго сада, наполнится корридоръ визгомъ гимназической своры, останавливается и въ воздухъ гнусаво и безнадежно произноситъ: — „колпаки“.

А иной разъ — и это бываетъ, — вытаскиваетъ фигура изъ внутренняго кармана тужурки большой, четырехугольный блокъ-нотъ и принимается записывать. При этомъ невольно къ разрѣшенію является диллема: — можно ли продавать такіе блокъ-ноты, которые лишь при особыхъ обстоятельствахъ могутъ помѣститься въ карманъ и можно ли производить карманы въ которыхъ подобные блокъ-ноты помѣститься могутъ?

Благодаря тому, что въ гимназіи говорить ученикамъ отмѣтки принято не было, пока онѣ въ четверти не выводились педагогами, любопытные ученики черезъ надзирателя разузнать пытались. Цѣль при этомъ не достигалась, но зато остроуміе проявлялось, потому что, каждый разъ неизмѣнно надзиратель отвѣчалъ скороговоркой:

Съ волкомъ двадцать,
Сорокъ, пятнадцать.
Всѣ кургузые,
Одинъ безъ хвоста.

Вотъ это все, что можно сказать о томъ, кого называли Вода, если не вѣрить слухамъ. А по слухамъ, говорятъ, что онъ игралъ на скрипкѣ.

И хотя правда, въ лицо никто не говорилъ: Вода, — Федоръ Антоновичъ ужъ ни въ коемъ случаѣ; съ педагогической стороны обыкновенно говорили: „будьте любезны“, а съ ученической: „разрѣшите“.

Если же (это я говорю въ скобкахъ), кому и можетъ показаться, что вода и, въ данномъ случаѣ, сопоставленіе съ ней надзирателя заключаетъ въ себѣ нѣкоторый символизмъ извѣстной расплывчатости что-ли, безцвѣтности скажемъ — протестую я. Протестую и напоминаю, что водѣ и Ніагара низвергающаяся обязана, и океаны бурные и горные потоки называемые „грозноревущими“.

Это — тоже Вода. Но проосязать надзирателя 6-ой классической гимназіи, какъ Ніагару, Терекъ или Индійскій океанъ, задача въ трехъ измѣреніяхъ, непосильная. Впрочемъ и вода водѣ рознь, а тѣмъ болѣе надзиратель.

Если же я почему либо пишу объ этомъ, предупреждаю заранѣе: моментъ наступилъ, когда ввиду нѣсколько необычайнаго стеченія обстоятельствъ метаморфоза произошла и уже никто больше не говорилъ Вода, но Федоръ Антоновичъ Быкадоровъ и то не въ настоящемъ времени, но въ прошедшемъ.

Были въ гимназическомъ корридорѣ часы, совсѣмъ большія и круглыя, причемъ циферблатъ этихъ часовъ съ двумя шпильками для заводки, какъ будто нарочно, носилъ странное, но несомнѣнное сходство съ лицомъ директора гимназіи Евге-

ніа Августовича Шоллэ, который былъ изъ нѣмцевъ и носилъ пэнснэ.

Этотъ директоръ, какъ и всѣ директора, имѣлъ обыкновеніе совершать очередные обходы уроковъ.

И вотъ въ среду, отъ оплошности ли надзирателя, вышло, или отъ чрезмѣрной наблюдательности гимназистовъ, сбѣгая съ лѣстницы столкнулся Евгенийъ Августовичъ лицомъ къ лицу съ цыферблатомъ часовъ и отступивъ шага на два, сказалъ: А!..

Какъ директоръ сказалъ „А!“ — Вода видѣлъ, но причины не понялъ и только въ большую перемѣну, когда самолично созвалъ директоръ всѣхъ учениковъ и вмѣстѣ съ Водой передъ часами поставилъ — все стало ясно, какъ день.

На цыферблатѣ намалеваны были усы и пэнснэ.

— Что? Это дѣти интеллигентныхъ родители? Что? Это ми называемъ гимназія? Такъ нѣтъ же, это не гимназія, а хлэвъ! А ви не гимназисты, а хлэвники!

Это — топая ногой, кричалъ Евгенийъ Августовичъ.

— Да, да. Я не позволю вамъ валежничать и безъ толку барахтаться. Да-да... Признавайтесь, который хулиганъ противъ казенное имущество? Который будетъ вышагать вонъ? Что?

И вотъ послѣ того, какъ лысина директора побагровѣла окончательно, а изъ учениковъ не признался никто — первый актъ разыгрался.

Директоръ загрохоталъ, наступая на надзирателя.

— Вотъ! Ему изъ казна деньги платятъ. А онъ? Что онъ? Онъ торчитъ, какъ кусокъ мяса на холодной печкѣ. Вотъ! Не для дисциплинъ, а для базаръ онъ поставленъ! Что? Вамъ господинъ за что деньги платятъ?

— Помилте Евгенийъ Австычъ... Досадная случайность...

— Не случайность, а хлэвъ. Ви хлэвникъ, что?

И наконецъ, когда у надзирателя губы запрыгали и странно сталъ носъ дергаться, окончательно разсвирѣпѣлъ директоръ.

— Что? Онъ есчо смѣется! Ви не надзиратель господинъ, ви — вода.

И тутъ по военному повернулся директоръ и ушелъ топая ногами.

Нижняя челюсть надзирательскаго лица затанцевала.

— А па-пазвольте! Я не вода, а Ф-федоръ Антонычъ Быкадоровъ, да! Я не вода! Не вода я!..

Директоръ не слышалъ, но онъ выкрикивать продолжалъ неврастенически тускло, пока не ушелъ въ противоположную сторону везя подошвами.

— Вотъ-те и вода! — сказалъ Саша Бобровъ, когда надзиратель ушелъ.

— Брось грязное дѣло, идемъ трубы чистить, — отозвался Вова Морковниковъ, а тутъ и къ завтраку позвонили и по всѣмъ лѣстницамъ гимназическія лавины устремились. Онѣ скатывались по ступенькамъ, скользили по периламъ и шумъ отъ нихъ былъ очень большой.

Второй актъ недѣлю спустя разыгрался, и такъ разыгрался, что народная пословица, «каковъ попъ, таковъ и приходъ», неожиданно, для надзирателя 6-й классической гимназіи, приняла своеобразный смыслъ, съ той только разницей, что въ головѣ его укладывалась она обратно: — «каковъ приходъ, таковъ и попъ».

А было вотъ какъ.

Сначала въ перемѣну безобразничалъ неимоვნю пятиклассникъ Шурка Строителейъ, такъ что надзиратель оказался вынужденъ сказать: — „Вы не Строителейъ, а Разрушителейъ“. Потомъ не пришелъ батюшка, а въ пустые уроки полагалось надзирателю сидѣть на кафедрѣ. И когда онъ сидѣлъ на кафедрѣ и періодически карандашомъ постукивалъ, въ классѣ составилось пари на полтинникъ: „Кто Воду взбѣситъ здоровѣе“.

Митя Красильниковъ, который мазалъ голову брилиномъ густо и учителямъ говорилъ отъявленные дерзости съ выраженіемъ усталой флегмы, не вставая, началъ первый.

— Федоръ Антоновичъ, а вы катехизисъ изучали?

— Катехизисъ?

Надзиратель не то сказалъ, что нужно, а нужно было сказать: „извольте встать“ или „сидите безъ глупостей“. Впрочемъ, тоже разрѣшалось сказать „колпакъ“.

А въ голову полѣзло: — сказалъ Федоръ Антоновичъ! Развѣ я Федоръ Антоновичъ? Какъ же такъ?

— Да. Вотъ, каково ваше мнѣніе; — невозмутимо говорилъ Красильниковъ, — въ прошлый урокъ Закона Божія, батюшка пустился въ объясненія, какъ это въ день второй Господь Богъ отдѣлилъ землю отъ воды...

Тутъ надзиратель вздрогнулъ. Послѣ этого могильное молчаніе воцарилось въ классѣ. Слышно было, какъ надзиратель разстегивалъ и застегивалъ пуговицу.

Ремизовъ къ Кожину наклонился: — Посмотри, онъ дрожитъ весь...

Кто-то сказалъ: — Буря въ стаканѣ.

— Во-ды, — отвѣтилъ хоръ.

— Господа, заговорилъ надзиратель вдругъ: — господа!..

А Саша Бобровъ въ риѣму пискнулъ: — Во-да!

На этотъ разъ гомерическій хохотъ послѣдовалъ. Гимназисты затоптали ногами, а надзиратель, бѣлый, стремительно въ корридоръ выскочилъ.

Это былъ актъ второй, а третій тотчасъ же наступилъ и все оттого, что на лѣстницѣ столкнулся надзиратель съ батюшкой, который съ журналомъ подмышкой, не торопясь, въ классъ шелъ. Онъ опоздалъ.

И вотъ тутъ, какъ разъ, когда надзиратель увидѣлъ батюшку и не столько батюшку, сколько золотой наперсный крестъ его, въ гимназіи раздался оглушительный трескъ, который впрочемъ никто кромѣ надзирателя не услышалъ.

Это былъ взрывъ въ надзирательской головѣ.

Рѣшительнымъ движеніемъ отцу Тезавровскому дорогу преградилъ и зачастилъ злобной, шипучей скороговоркой:

— Вотъ вы господинъ священникъ собираетесь мимо пройти, а я вотъ господинъ священникъ себя оскорблять не позволю. Понимаете вы это?

— Да въ чемъ дѣло, дорогой мой?

— Да? Въ чемъ дѣло? Вотъ вы думаете я ничего не знаю, а я знаю, что вы дѣлаете. Меня вашъ директоръ передъ мальчишками оскорбляетъ, а почему оскорбляетъ? У меня, господинъ священникъ, семья голодаетъ! А вы думаете я ничего не читалъ? Я Ренана читалъ, господинъ священникъ! Вотъ вы свободы боитесь, а я не боюсь свободы и въ революцію пойду.

Нѣтъ не возражайте! Вы вотъ ихъ баснями съизмальства запугиваете, потому что рабовъ желаете. А вотъ, что Анатолий Франсъ на Западѣ пишетъ? А?.. Что пишетъ?.. Вы думаете я не читалъ? А я вотъ знаю, какъ на урокахъ вашихъ, вы ихъ издѣваться надо мной учите. Скажете, отъ себя мальчишка Красильниковъ говоритъ... Нѣтъ господинъ священникъ, вашими устами! Такъ вотъ я скажу вамъ, что вся ваша церковь обманъ, а Христа не было, а Богъ относительность! Народъ въ обманъ вводите! Понимаете? Только напрасно, да-съ!

Руками всплеснулъ отецъ Тезавровскій. Увидѣлъ что судорги у надзирателя пошли.

— Да выпейте воды!

— Что-съ?

Отскочилъ и присѣлъ: — Такъ и ты издѣваться, треклятый попъ! На вотъ-те, получай! И на церковь твою и на тебя — тѣфу! И на крестище твой — тѣфу! тѣфу!

Конечно догадался священникъ, что надзиратель съ ума сошелъ, но что въ лицо ему плюнетъ — не ожидалъ.

Отовсюду перепуганные бѣжали: — Батюшка! Федоръ Антонычъ! Что случилось?

Священникъ улыбался: — Ничего, вотъ Федору Антоновичу помогите. Дурно ему...

Надзиратель на ступеньки повалился; ногами сталъ бить, а Петръ Петровичъ, инспекторъ, за голову схватился: — Скорѣй, скорѣй воды на голову, Степанъ, воды!

— Нѣтъ — нѣтъ! Издѣваться не дамъ. Не вода я больше!.. Крышка! Не вода!

Степана, служителя, кулакомъ съ ногъ сбиль, когда тотъ съ ведромъ воды появился.

— Знаю, все знаю для чего это. Я Федоръ Антонычъ Быкадоровъ! Вы понимаете, что это значитъ. Федоръ Антонычъ Быкадоровъ, а не вода!...

И до тѣхъ поръ самыхъ, какъ смирительную рубашку надѣли, вопить продолжалъ, что Федоръ Антоновичъ Быкадоровъ.

БАЛЛАДА О ЩЕТКѢ

Гоголь говоритъ, что странныя вещи на свѣтѣ бываютъ, хоть рѣдко, но бываютъ. И какъ будто правъ Гоголь, только не совсѣмъ. Странныя вещи или очень часто бываютъ, или не бываютъ вовсе.

Вотъ человѣкъ одинъ былъ и утверждалъ: — на любой молъ предметъ глядя, предметъ видишь и подпредметъ.

И не только удивлялся если другіе не видятъ, — плакалъ: — какъ же безъ этого жить-то сумѣете!

Это къ слову пришлось, а рѣчь вовсе не объ этомъ. Говорится о щеткѣ, той щеткѣ, которой принято чистить шляпы. И все дѣло въ томъ, что щетка эта безупречно сдѣланная, и въ англійскомъ магазинѣ Шанксъ купленная, лежала на подоконникѣ въ передней у Засѣдателевыхъ и, слѣдовательно, видна была съ улицы.

Слѣдовательно, — оттого, что окно выходило на улицу и помѣщалось въ первомъ этажѣ.

А что еще важнѣе, Михаилъ Романовичъ Засѣдатель въ томъ же торговомъ домѣ служилъ, гдѣ и Яковъ Иннокентьевичъ Скрипакаевъ, и притомъ мѣсто занималъ выше. Вотъ поэтому то, Яковъ Иннокентьевичъ Скрипакаевъ польщенъ оказался чрезвычайно, когда Михаилъ Романовичъ Засѣдатель, возьми и пригласи его къ себѣ на чашку чаю.

Засѣдатель былъ кассиръ, а Скрипакаевъ приказчикъ. Одинъ изъ тѣхъ двадцати трехъ, что въ мануфактурномъ магазинѣ наслѣдниковъ Стрекопытова и Болдакова служили. (Это въ Зарядьѣ).

И объ этомъ вовсе не потому упоминаю, что завидовалъ Яковъ Иннокентьевичъ Михаилу Романовичу; не завидовалъ

нисколько, но съ почтеніемъ относился и сознавалъ свою недостаточную образованность, чтобы стать кассиромъ.

Это съ одной стороны. А съ другой, зналъ и другое Яковъ Иннокентьевичъ Скрипакаевъ: одно дѣло кассиромъ быть, а другое приказчикомъ и не всякій кассиръ, и даже хорошій кассиръ, можетъ быть хорошимъ приказчикомъ.

Внѣшне описать труднѣе, неизмѣримо труднѣе и вотъ почему. Когда покупатели сукна или шевіота (въ торговомъ домѣ продавали сукно и шевіотъ), когда покупатели предлагали Якову Иннокентьевичу отрѣзать нѣкое количество аршинъ, — всегда одна и та же исторія приключалась. Заплативъ у кассы, никакъ не могли покупатели отыскать своего приказчика, чтобы получить покупку. И когда ухмыляясь подскакивалъ Яковъ Иннокентьевичъ, говорили: — развѣ вы мнѣ отпускали?

И поглядывали недовѣрчиво. И только когда произносилъ Яковъ Иннокентьевичъ „я-съ“ — соглашались, но и то словно нехотя.

И Яковъ Иннокентьевичъ Скрипакаевъ, который снималъ комнату около Устьянскаго моста по той сторонѣ, одѣвшись взялся за шляпу (это чтобы идти къ Засѣдателю), вдругъ передернулся словно, и, какъ будто, остолбенѣлъ.

— Откуда пятно? Что за пятно?

На шляпѣ рыжее пятно и, хотя сама шляпа тоже рыжая, пятно выступаетъ явственно, потому что оно много рыжѣе нежели шляпа.

Яковъ Иннокентьевичъ сѣлъ и принялся соображать. (Вотъ еще не сказалъ, что Яковъ Иннокентьевичъ, соображая, всегда садился).

— Пятно, пятно! Рыжее пятно! Откуда рыжее пятно?

И попробывалъ затереть пальцами, но не затеръ, а наоборотъ, какъ будто еще явственнѣе пятно выступило.

Яковъ Иннокентьевичъ грустно поглядѣлъ на шляпу и все таки надѣлъ ее на голову и пошелъ задумчиво.

И когда по улицамъ проходилъ, странно!

Такъ вотъ съ одной стороны, кажется, пріятнымъ холодкомъ подзуживаетъ празднично, какъ давно не подзуживало, а вотъ съ другой нѣтъ-нѣтъ да и ёкнетъ сердце и въ пустоту

словно — бухъ! Равно какъ на подъемной машинѣ у Мюрмири-лиза, когда опускаешься.

И вѣдь не то что пятно! Но вѣдь случай то въ обществѣ побывать, когда еще представится...

И говорилъ намедни Дрыгачевъ, — жена у кассира красавица...

Яковъ Иннокентьевичъ съ утра припоминалъ гдѣ либо прочитанныя или когда либо слышанныя деликатныя фразы. Почему то на этотъ разъ (какъ бѣсъ, словно!) ни за что не хотѣлось лицомъ въ грязь ударить.

И вѣдь еще: — не разъ своими ушами слыхивалъ, какъ Михаилъ Романовичъ Засѣдателевъ въ сердцахъ говаривалъ: у-у ты, рыло твое приказчиье!..

Не ему, правда, говорилъ, но говаривалъ.

А у Скрипакаева, кромѣ семьи дьячка церкви сосѣдней, знакомыхъ не заводилось. Да и въ самомъ дѣлѣ, что за знакомые это! Дьячекъ всегда пьянъ и буянить, а жена дьячкова параличная седьмой годъ.

И когда на Ильинку вышелъ, остановился вдругъ: нехорошо опредѣленно. Тошнота не тошнота, а такъ, будто живчикъ подъ ложечкой катается и къ горлу прыгаетъ.

Здѣсь фонари какіе то яркіе и народу много. Яковъ Иннокентьевичъ у фонаря постоялъ. Потомъ бочкомъ пошелъ у самыхъ домовъ. Чуть безспокойно на обгоняющихъ прохожихъ поглядывалъ. Чудилось какъ-то: всѣ къ Засѣдателеву идутъ.

Вѣдь никогда супруги Засѣдательевой не видѣлъ, а почему то мерещилась такая, какъ на картинкахъ модныхъ. И смѣется, заливается и еле выговорить можетъ: — Яшка-то, Яшка-то Скрипакаевъ, съ рыжимъ пятномъ на шляпѣ привалилъ... хорошъ гусь!

И Скрипакаеву не то что жутко становилось, — исчезнуть хотѣлось, какъ сахаръ, скажемъ, въ стаканѣ чаю раствориться.

Скрипакаеву вспомнилось мелькомъ: восемь лѣтъ уже какъ, магазина кромѣ и дьячка, изъ дому не выходилъ.

Вечеръ теплый, майскій. Воздухъ крѣпкой весной пахнетъ и волнуетъ. За кремлемъ еще не погасло багряное золото и фіолетовый полусвѣтъ на улицѣ. Словно отдѣльно, какъ то, фонари горятъ и не принимаютъ ихъ воздухъ.

Скрипакаеву подумалось вдругъ: — сами въ себѣ горятъ. И люди всѣ спѣшатъ. И спѣшатъ извозчики, гикаютъ. Противъ биржи лихачъ чуть-чуть съ ногъ не сшибъ. Матерне обругался и мимо просвисталъ.

Скрипакаева удивило: — да чего онъ ругается?

И рѣшилъ, что любя.

Еще въ парадное входя, шляпу снялъ и такъ держать старался, чтобы пятна не примѣтили. На улицѣ-то куда ни шло!

И Яковъ Иннокентьевичъ самъ поразился: вѣдь дѣйствительно, на улицѣ это никакой важности не представляло, рѣшительно никакой важности и вѣдь къ Засѣдателявымъ то онъ одинъ шелъ...

— На улицу что ли обратно?

И вдругъ чихнулъ.

— Конечно услышали! Сама услышала!

И онъ позвонилъ рѣшительно.

Яковъ Иннокентьевичъ въ испугѣ отступилъ, прежде чѣмъ услышалъ бѣненіе своего сердца. Отворяетъ самъ Засѣдательвъ. — Якову Инноконтъичу мое нижайшее! Пожалуйста голубчикъ, раздѣвайся сударь. Дай шляпу подержу, а вы пальтишко скидавайте...

Это говорилъ Засѣдательвъ, а Яковъ Иннокентьевичъ блѣднѣлъ. Оглядѣлся растерянно, опоры ища; колѣни сначала задрожали, потомъ медленно стали подгибаться, въ головѣ что то шириться начало, двѣ-три искры и внезапно...

— Ахъ!

Выпрямился многовенно и розовая краска по лицу пробѣжала. Потухающій взглядъ его упалъ на подоконникъ случайно. Именно случайно. И Яковъ Иннокентьевичъ увидѣлъ прекрасно сдѣланную, совершенно новую щетку для чистки шляпъ.

И тогда озарило мгновенно, и мысли словно поршни гигантскіе въ мозгу заработали.

Вѣдь Яковъ Иннокентьевичъ понялъ, понялъ до жуткости и восторга отчетливо, что основная причина пятна и невозможности его удаленія, заключалась именно въ томъ, что у

него нѣтъ щетки и никогда не было и будь у него щетка, пятно было бы выведено давно.

И чудно кажется и расхохотаться хочется безудержно и долго. Разслабленно заливаться.

Что то огромное разрѣшилось.

И Скрипакаевымъ вдругъ задорная веселость овладѣла и также оборвалась внезапно. И слегка задрожалъ, именно оттого, что словно передвинулось что-то.

Яковъ Иннокентьевичъ былъ пьяница. И не пьяница вѣрнѣе, но алкоголикъ, совсѣмъ не такой, какъ дьячекъ. Изъ магазина возвращаясь, онъ ставилъ бутылку водки на столъ и глядя въ стѣну, принимался потихоньку тянуть стаканъ за стаканомъ, постепенно совѣя. И послѣ того, какъ бутылка кончалась, принимался молиться, плача навзрыдъ, и потомъ ложился спать. И когда выпьетъ двѣ бутылки, какъ нарочно всегда одинъ и тотъ же кошмаръ, къ которому привыкъ, но боялся смертельно.

Два непонятныхъ и необъяснимо враждебныхъ господина въ котелкахъ, безъ лицъ, высокихъ, какъ ели, шли черезъ воздухъ; и вотъ ему почему то извѣстно: одинъ это Патраховъ Алексѣичъ Волдрыкинъ, а другой Пантрохъ Глѣбычъ Чумисхинъ. И второй еще жутче.

Это къ тому говорю, что войдя въ Засѣдателеву столовую, первое что увидѣлъ, это бутылки и семгу. Потомъ Наталью Никифоровну (и совсѣмъ не такая, какъ думалъ!) и потомъ гостей. Много ихъ!

И разговоръ шумный и голоса пьяные и много сизаго дыму.

Скрипакаевъ очумѣлъ сразу, и, улыбаясь глупо, гдѣ то на краю сѣлъ, и кто то ему рюмку налилъ, и еще подливалъ.

Какъ то долго просидѣлъ, въ пустотѣ будто, и машинально пилъ. И вотъ какъ то очнулся.

Кулакомъ по столу стучалъ Михаилъ Романовичъ: — Да! Невиновень говорите! Хорошо невиновень! Легко вамъ, что кассирова дѣла не знаете... Слава Богу шестнадцать лѣтъ служу и ни одинъ пятачишко!.. Да пусть онъ и не укралъ рохля эта, шутъ съ нимъ, а что кассу держать не умѣетъ — это да! Ты думаешь каждый дуракъ можетъ тебѣ кассу дер-

жать? Нѣтъ братъ Никаноръ Федорычъ, не всякій! Не знаете нешто? На кассирѣ то она вся коммерція держится, это вамъ не приказчикъ какой! То-то невиновень... Если бѣ я судья былъ — на каторгу! Въ Сибирь! На висѣлицу! Кассирѣ! Думаете это сапоги точать!..

Сначала одобрительно кивалъ Скрипакаевъ, хотя и не зналъ о комъ рѣчь идетъ. Онъ рюмку за рюмкой опрокидывалъ и какую то необычайно великую кротость ощущалъ. И только когда кончилъ Михаилъ Романовичъ и папиросу зажегъ, заговорилъ.

— Совершенно справедливо изволите, Михаилъ Романовичъ, только вотъ напрасно изволили про приказчицкое дѣло выразиться... Безъ приказчика то оно никакъ не возможно-сь...

Засѣдателевъ усмѣхнулся: — Приказчикъ! Что такое приказчикъ? Да ты милый не обижайся, а лизоблюдь. Ей Богу лизоблюдь!

И вдругъ больно уколело Скрипакаева: — Никакъ нѣтъ-сь Михаилъ Романовичъ, не лизоблюдь, никакимъ манеромъ не лизоблюдь, а самое наиполезнѣйшее занятъе. Да-сь... Вотъ скажемъ, примѣрно-сь, приказчикъ не продастъ товаръ, кассиру то и не съ кого деньги получать...

Хозяйка въ ладоши ударила, и тутъ только какъ слѣдуетъ замѣтилъ Яковъ Иннокентьевичъ — лицо круглое, какъ булка и полная, не въ мѣру, грудь.

Воскликнула: — Вотъ это ужъ вѣрно! Правильно разсудили мосье Скрипакаевъ!

Якова Иннокентьевича поразило слово „мосье“. Какъ то съ собой не связать.

А Засѣдателевъ то вѣдь багровый сталъ.

— А вотъ и нѣтъ — кричитъ — лизоблюдь сущій! Сударь да сударыня. А вотъ не захочу купить и не куплю, и плюю на приказчика, а вотъ коли хочу купить и не обойдусь безъ кассира! А вотъ не захочетъ кассиръ то кассу сдавать, вотъ те и хозяинъ безпортошникъ...

И Скрипакаевъ закипятился безудержно: — а это не кассиръ значитъ, а тать. А коли приказчикъ тать, онъ и весь товаръ, негодай, обчиститъ...

— А такого приказчика щеткой выметутъ!

— Щеткой?

— Щеткой!

— Какъ это щеткой?

— Щеткой, говорю!

— Щет-кой, — протянулъ Скрипакаевъ задумчиво и вдругъ въ пустоту уставился.

Онъ ничего не понялъ. Только то развѣ, что десять секундъ тому назадъ былъ пьянъ, а теперь не пьянъ. И опять, вдругъ, слабо смѣяться хочется.

„Въ самое рыло“, эти слова странно прозвучали, гдѣ то очень далеко и только отдаленно напомнили о Засѣдателевѣ.

И какъ еще сидѣлъ и какъ ушелъ. Только самъ не свой и вовсе не оттого, что до самаго ухода его, Засѣдателевъ свирѣпо глядѣлъ. — Чего-чего, а этого не замѣтилъ Яковъ Иннокентьевичъ.

И какъ то не помолившись легъ и заснулъ сразу, хотя до утра казалось, что не спать. Яковъ Иннокентьевичъ, кажется, съ открытыми глазами спалъ.

И сначала бѣжали искры и тѣни, а потомъ, какъ будто, холодная улица и, котелками въ тучи, на ходуляхъ словно, безъ лицъ, съ поднятыми воротниками плывутъ черезъ воздухъ необъяснимо враждебный Патрахонъ Алексѣевичъ Волдрыкинъ и за нимъ, еще жутче, Пантрохъ Глѣбычъ Чумисхинъ.

И на этотъ разъ все мерещится: длинныя ходули въ глаза и въ ротъ, какъ будто рогадины тянутся и какія то не то палки, не то кости постукиваютъ. И все ближе словно и могильнымъ холодомъ обдаетъ.

Тукъ-тукъ. Туку-тукъ.

И Засѣдателевъ кулаками грозитъ откуда то снизу, и видитъ Яковъ Иннокентьевичъ, какъ страшные два, безъ лицъ, подъ тучами несутся высоко-высоко.

Тукъ-тукъ. Туку-тукъ.

А внизъ взглянуть боязно, потому что и тамъ пропасть и тучи, и только тутъ ясно стало и вспомнилось, какъ потолокъ уѣхалъ куда то вправо, кровать разъѣхалась и полъ волнами.

Яковъ Иннокентьевичъ не то въ одѣяло вцѣпился, не то бѣжать бросился и сердце забилося съ болью. Онъ, конечно, не зналъ куда бѣжить и, пожалуй, находится... ай-ай!

Вѣдь съ двухъ сторонъ ловятъ страшные Патрагонъ и Пантрохъ...

Пошелъ скачками! Галопомъ и кругомъ все галопомъ... И вдругъ маленькая, страшная, до ужаса бѣлая ленточка взвилась и Яковъ Иннокентьевичъ въ неистовомъ перепугѣ отпрянулъ и проснулся тутъ же.

Только сердце колотилось, но необычайный покой и никакого осадка. И какъ будто тамъ за кошмаромъ, что то еще другое ясно и сосредоточенно работало и нѣчто великое рѣшило.

Яковъ Иннокентьевичъ понялъ совершенно ясно: — щетка. И щетка не просто щетка, и совсѣмъ не такъ, какъ вообще полагается.

И все вообще не такъ, а иначе.

Яковъ Иннокентьевичъ былъ не то что пораженъ, потому что поразиться щеткѣ трудно, но Яковъ Иннокентьевичъ ощущалъ съ умопомрачительной ясностью: съ нимъ случилось, что то такое, или безконечно невѣроятное, или до жути обыкновенное, что то такое, такое случилось!..

И вотъ все это, какъ то шло черезъ щетку, какъ будто въ щеткѣ и заключалось. И это, несмотря на то, что Яковъ Иннокентьевичъ уже заранѣе зналъ, что и щетка на самомъ то дѣлѣ вовсе не щетка, а вотъ замѣнить ее ничѣмъ нельзя!

Или можетъ быть это именно щетка...

Яковъ Иннокентьевичъ анализами не занимался вѣдь. Яковъ Иннокентьевичъ только чувствовалъ въ себѣ необъяснимую любовь къ этой щеткѣ. Да, именно, къ этой щеткѣ, потому что замѣнить ее нельзя.

И хотя бы спросить, хотя бы узнать...

И на слѣдующій день, въ воскресенье, онъ ходилъ, какъ немножко ошпаренный и, по обыкновению, къ дьячку зашелъ.

Дьячка не было. Онъ второй день не возвращался, а Марѳа Павловна, какъ и всегда, на постели лежала. Она второй день безъ ѣды.

Яковъ Иннокентьевичъ слабо посмѣялся: — бѣдная вотъ, коли не дадутъ поѣсть, она и не поѣсть; и молчитъ...

А какъ же не молчать то ей?

И вотъ Якову Иннокентьевичу отчего то смѣшно, что Марѳа Павловна безъ ногъ лежитъ и достать себѣ поѣсть не можетъ, а дьячокъ вторыя сутки пьянствуетъ.

— Вотъ, Марѳа Павловна, не сготовь я вамъ, вы то вѣдь и до ночи безъ кушанья останетесь...

Это онъ сказалъ, какъ то во снѣ словно. И какъ то скользило все по Якову Иннокентьевичу и не задерживалось и все, буквально все — чуть смѣшно.

Онъ пошелъ къ Засѣдателеву дому и остановился въ переулкѣ.

Черезъ окно виднѣлось смутно очертаніе щетки.

И вотъ странно, когда Яковъ Иннокентьевичъ смотритъ на щетку, все начинаетъ казаться чуть иначе и Якову Иннокентьевичу нѣтъ нужды разсуждать отчего и почему.

Здѣсь я прерываюсь, потому что начинается нѣсколько странная исторія... Скрипакаевъ принимается ходить къ Засѣдательнымъ подъ вечеръ, и, обыкновенно, Михаила Романовича не застаётъ. Только два раза Михаилъ Романовичъ засталъ его и удивился какъ то злобно.

Но вѣдь Скрипакаевъ уже не зналъ значенія злобы, и не смутился. Вѣдь онъ весь въ другомъ.

И часы съ Наталіей Никифоровной не тяжелы потому только, что Яковъ Иннокентьевичъ, представить себѣ не въ силахъ, чтобы онъ кому либо мѣшать могъ...

И вѣдь не къ ней ходитъ. Приходами и уходами живетъ Яковъ Иннокентьевичъ, то есть проходя черезъ переднюю.

И вотъ, какъ то нужно спросить двѣ вещи: гдѣ купили и сколько стоитъ.

Но какъ же спросить такъ?

Якова Иннокентьевича холодомъ обдавало при этой мысли: спросить такъ. Вѣдь это — ужасъ! Это — грѣхъ...

Почему то, Якову Иннокентьевичу мерещилось кощунство.

Вѣдь Яковъ Иннокентьевичъ особой торжественности ждалъ, особыхъ какихъ то обстоятельствъ, чтобы спросить.

И вѣдь чудное дѣло: съ того то дня и необъяснимо враждебный Волдыркинъ и жуткій Чумисхинъ исчезли безслѣдно. Какъ то и не подумалось, что водка прежде исчезла.

И то же не зналъ, что раньше было: рыжее ли пятно, щетка ли? Щетка ли на пятно указала или пятно на щетку? Или вообще не въ томъ дѣло?

Фактъ вѣдь тотъ, что Якова Иннокентьевича пятно не заботило и не собирался даже его затереть, и еще, вдобавокъ, на пиджакъ замѣтилъ множество пятенъ, которыя видѣлъ и раньше.

Засѣдателевъ былъ грубъ въ магазинѣ, но Яковъ Иннокентьевичъ и этого не понялъ.

И не только этого. Вотъ во вторникъ другой недѣли, когда у Натальи Никофоровны сидѣлъ, ему казалось, что она говоритъ смѣшнымъ голосомъ и чего то вся изгибается.

А она вотъ что говорила: — Чудной вы штой-то и не понять быдто. Ежели оно по робости Ешинька (именно Ешенька), что жъ, это можно. Я, знаете, къ вамъ съ расположеньемъ...

Яковъ Иннокентьевичъ подумалъ: — не ухмыльнуться ли?..

И, вдругъ, подскочилъ.

Ему показалось, что рушится потолокъ. Яковъ Иннокентьевичъ не различилъ, что было прежде: грохотъ или ревъ.

Ревъ изтупленный: сволочь!.. убью!

Какъ то въ сторону метнулся Скрипакаевъ, когда тяжелый, чугунный утюгъ звонко объ стѣну шлепнулся, и что то разбилось.

Послѣ этого ясно стало. Это Засѣдателевъ багровый и потный жену за волосы тащить и въ лицо колотить. Дышитъ яростно: — Съ Яшкой! съ Яшкой шашни!..

Скрипакаевъ ногтями за стѣну цѣплялся. Скрипакаеву почудилось, что канатъ лопнулъ и раскручивается быстро-быстро и когда до конца раскрутится, его на воздухъ подыметъ.

У Скрипакаева въ груди круглилось. Онъ вдругъ отъ стѣны оторвался и руки растопырилъ.

Да это буфетъ грохнулъ!

И когда понялъ Яковъ Иннокентьевичъ паденіе буфета, ему такъ смѣшно сдѣлалось, что онъ за животъ схватился. Яковъ Иннокентьевичъ хохоталъ безудержно.

Да развѣ онъ на колѣняхъ стоялъ? Какъ то времени, словно не осязая, увидѣлъ: большой, грязный башмакъ, медленно подымаясь, къ его лицу близится.

Скрипакаева что то больно въ носъ ударило.

Съ перваго то этакъ все слышно. Поэтому и дворники, и жильцы, и городово́й, и еще какіе то люди появились.

И былъ еще болѣе страшный крикъ, и тащили въ участокъ...

А вѣдь дѣло все въ томъ, что Засѣдателевъ не понялъ и Наталья Никифоровна тоже не поняла. Они не поняли, да и все равно не смогли бы понять, что Скрипакаевъ къ щеткѣ ходитъ.

А онъ ихъ не понялъ, а они его, и вотъ потому что не поняли, когда онъ робко сказалъ, рѣшили, что Скрипакаевъ помѣшался.

И всѣ такъ рѣшили, и отвезли его въ сумашедшій домъ. И онъ тамъ остался, и его не выпускаютъ, потому что онъ тихо пытается увѣрить, что ходилъ не къ женщинѣ, а къ щеткѣ.

Георгій Цебриковъ.



ИЗЪ КНИГИ „ВОДЫ МНОГІЯ“

Господь подъ водами многими ...
Псалмы.

14 февраля, Красное море.

Вчера, какъ только стемнѣло, на бакѣ „Юнана“ подняли большой электрической фонарь, цѣлое солнце, и далеко ударилъ въ темноту впереди бѣлый слѣпящій свѣтъ. Влачась по изгибамъ Канала, точно китъ, заплывшій въ рѣку, „Юнанъ“ зорко озиралъ все то, что было на его пути, — мутную воду, пласты бураго ила на побережьяхъ, пересыпанные пескомъ кустарники, лодки возлѣ сторожевыхъ пунктовъ, женскія фигуры босоногихъ фелаховъ, на корточкахъ сидѣвшихъ въ своихъ длинныхъ рубахахъ на кормахъ лодокъ... Этотъ иль, эти аравійскіе пески, эти первобытные люди напоминали о жизни глухой, ветхозавѣтной, но впереди то и дѣло пронизывали темный горизонтъ прожекторы встрѣчныхъ пароходовъ. И разъ „Юнанъ“ даже совсѣмъ притихъ, неуклюже привалился къ берегу, чтобы пропустить чуть не цѣлый пловучій городъ: встрѣчный великанъ надвигался на насъ, рѣзко и фіолетово сіяя широкими и нестерпимо блестящими лучами своего солнца, своего фонаря, потомъ совершенно затопилъ насъ какъ бы дневнымъ свѣтомъ — и съ шумомъ прошелъ мимо всѣми своими этажами, высокими мачтами и черными трубами, золотомъ освѣщенныхъ иллюминаторовъ и раскрытыхъ дверей, за которыми играла послѣобѣденная музыка въ переполненныхъ народомъ залахъ... Странное для синайскихъ песковъ зрѣлище!

Редакція Благонамѣреннаго приноситъ свои извиненія Ив. Бунину за вынужденное — вслѣдствіи поздняго прибытія рукописи — напечатаніе „Воды Многія“ не въ алфавитномъ порядкѣ.

Когда насъ снова окружила темнота, я посмотрѣлъ на небо. Вѣтеръ стихъ, небо было чисто. Небо отъ большого количества звѣздъ первой величины было мрачно и торжественно.

Въ двѣнадцатомъ часу фонарь потушили, сняли, чуть видные въ темнотѣ берега стали расходиться, воздухъ измѣнился, сталъ болѣе влажный, морской; чувствовалось, что кругомъ только одна вода, впереди были разсыпаны далекіе огни на суэцкомъ рейдѣ...

Проснулся уже въ Красномъ морѣ. Ночью необыкновенно сильный и необыкновенно мягкій вѣтеръ развелъ такое волненіе, что, выйдя нынче въ каютъ-кампанію къ кофе, я увидѣлъ въ ней странный полусвѣтъ, — всѣ иллюминаторы, выходящіе на бакъ, были закрыты на-глухо: такъ швыряло волной навстрѣчу.

На палубѣ ослѣпило. Въ снастяхъ выло, свистало. Въ воздухѣ вѣяла водяная свѣжесть, которая однако уже мѣшалась со зноемъ высокаго, высокаго солнца. Все море ходило долинами, холмами, верхушки этихъ холмовъ ярились пѣной. Вѣтеръ рвалъ ее, и бѣлые хлопья, залетавшіе иногда на палубу и быстро скипавшіе съ гладкихъ досокъ, рѣзко горѣли серебромъ. „Юнанъ“ медленно кланялся солнечному морю, шедшему на него ухабистой и сіяющей равниной. Какія-то странныя сѣрыя птички съ совершенно круглыми крылышками въ черной каемкѣ перелетали по снастямъ, по поручнямъ бортовъ. Откуда ихъ занесло? Сколько разнообразнѣйшихъ жизней въ мірѣ, о которыхъ мы и не знаемъ, никогда не думаемъ!

Я долго и, признаться, не безъ нѣкоторой хищной хитрости, ходилъ за этими птичками по заваливающемуся то на одинъ, то на другой бокъ пароходу. Онѣ подпускаютъ очень близко, эти птички, а все таки чуютъ правду — въ концѣ концовъ пугаются и улетають. Сидитъ и неподвижно смотритъ на тебя чернымъ глазкомъ: кто ты такой, что хочешь со мной сдѣлать? И едва сдѣлаешь лишній шагъ — птичка порхъ и уже гдѣ-нибудь высоко, на реѣ. Нѣтъ, никакая жизнь не вѣритъ другой! И не безъ основанія...

Сейчасъ звонятъ къ завтраку. Блескъ и зной, море успокаивается, вѣтеръ стихаетъ.

15 февраля.

За вчерашній день все чрезвычайно измѣнилось, — мѣнялось чуть не каждый часъ. И вотъ оно уже наступило, то вѣчное свѣтоносное лѣто совершенно новаго для меня міра, которое говоритъ о какой-то давно забытой нами, райской, блаженной жизни. Къ вечеру всѣмъ намъ пришлось надѣть все бѣлое, и въ этомъ было что-то праздничное. Вѣтеръ совсѣмъ стихъ, море совсѣмъ улеглось и вообще все, по словамъ моряковъ, пришло въ полный порядокъ, въ тотъ покой, въ то радостное и сіяющее однообразіе, изъ котораго мы теперь не выйдемъ до самаго возвращенія въ Средиземное море.

А поздно вечеромъ капитанъ наконецъ поздравилъ насъ со вступленіемъ въ тропики. И такъ, завѣтная черта, о которой столько мечталъ я, перейдена. Ночью долго гуляли по верхней палубѣ, стояли на кормѣ. Слѣдъ отъ винта горитъ, въ его бушующей пѣнѣ плаваютъ тысячи синихъ звѣздъ, то и дѣло возникаютъ и распускаются въ лазурный дымъ цѣлыя блюда пламени.

Спать было уже душно. Мѣрно жужжитъ въ теплой темнотѣ каюты электрической вентиляторъ, но его вѣяніе только ласкаетъ.

Нынче утро еще жарче. Проснулся въ шесть отъ шума воды — матросы, какъ всегда въ этотъ часъ, „скатывали палубу“, затопляли ее изъ шланговъ, терли швабрами, и этотъ шумъ, свѣжій, водяной, былъ очень сладокъ въ томъ зноѣ и блескѣ, присутствіе котораго въ мірѣ я почувствовалъ еще лежа въ постели.

Затѣмъ натянули бѣлые тенты надъ нижней палубой — докончили картину. Вотъ теперь уже совершенно все по тропически: и эта легкая жаркая тѣнь подъ тентами, и рѣзкое серебро бѣлыхъ одеждъ, бѣлой обуви и бѣлыхъ шлемовъ на моряхахъ, и ихъ страшныя черныя очки.

Начали и мы тропическую жизнь, — блаженное бездѣлье, лежанье въ камышевыхъ креслахъ, которыя намъ вынесли на палубу, въ прозрачную, полную свѣта тѣнь. Мы лежимъ и смотримъ въ свѣтлую пустоту сіяющаго неба, видную между бортомъ и тентомъ, дивимся на воду, что сквозитъ въ рѣшеткѣ

поручней. Это драгоценный прозрачный камень, сплавъ непредаваемыхъ зеленыхъ самоцвѣтовъ, въ прозрачности котораго дымится зеленая муть. Сплавъ идетъ, качается, по временамъ растеть острыми хребтами и закипаетъ съ сильнымъ и чарующимъ шумомъ. Поваръ, — онъ родомъ откуда-то изъ Пиренеевъ, — работаетъ на кухнѣ и поетъ чудеснымъ, порою очень высокимъ голосомъ. И пѣсня со сладкой грустью говоритъ о счастьѣ жить, любить, мечтать въ этомъ свѣтоносномъ Божьемъ мѣрѣ...

Послѣ обѣда сидѣли наверху, въ большой каютѣ капитана. Онъ водилъ насъ въ штурманскую рубку, показывалъ небесный глобусъ, тѣ новыя южныя звѣзды, которыя уже открываются намъ.

Н о ч ь ю .

Второй часъ. Не могу заснуть, — такимъ счастливымъ чувствую себя.

Лежа въ темнотѣ, вспоминалъ штурманскую рубку, думалъ о рулевомъ. Вотъ онъ и сейчасъ прямо и ровно стоитъ тамъ, наверху, бѣлѣетъ своей матроской въ сумракѣ, держитъ за рога рулевое колесо, глядитъ на большой мѣдный кругъ, лежащій передъ колесомъ и таинственно освѣщенный низко спущенной лампочкой подъ чернымъ колпакомъ, а на кругѣ зыбко дрожитъ и, дрожа, медленно ходитъ, какъ живая, магнитная стрѣлка... Это ли не дивно! Истинно высокимъ саномъ облеченъ теперь этотъ человѣкъ, ведущій нашу морскую стезю, сопряженный съ тѣми непостижимыми, Божьими силами, которыя колеблютъ, правятъ эту стрѣлку!

Восторженно волнуясь, лежалъ въ темнотѣ и думалъ, а вѣтеръ вѣялъ и вѣялъ въ каюту, въ ея открытое окно, въ растворенную дверь, глухо билось гдѣ-то внизу какъ бы нѣкое огромное сердце и мѣрно возникалъ, падалъ и снова росъ смутный шумъ волнъ, неустанно несущихся вдоль бортовъ.

16 февраля.

Въ два часа прошли островъ Джебель-Таиръ. Совсѣмъ не похожъ на Средиземные острова. Тѣ всегда очертаніями

волнисты, мягки и всегда въ голубоватой или нѣжно-сиреневой дымкѣ воздуха. Этотъ же совершенно четкій, голый и со всѣхъ сторонъ точно топоромъ обрубленъ. И цвѣтъ его совсѣмъ новый для глаза, — верблюжій.

Передъ вечеромъ слѣва шли мелкіе острова, довольно далеко другъ отъ друга разбросанные. Ближніе въ упоръ, но мягко были освѣщены солнцемъ, ихъ известковые откосы сіяли желто-розовой бѣлизной, а дальній, самый большой, цвѣтъ имѣлъ опять верблюжій. Это Двѣнадцать Апостоловъ. Вода была какъ въ Черномъ морѣ. И все время насъ плавно, медленно качало.

Въ шесть часовъ, тотчасъ же послѣ заката солнца, увидалъ надъ самой своей головой, надъ мачтами, въ страшно большомъ и еще совсѣмъ свѣтломъ небѣ, серебристую розсыпь Оріона. Оріонъ днемъ! Какъ благодарить Бога за все, что даетъ онъ мнѣ, за всю эту радость, новизну и красоту? И неужели въ нѣкій день все это, мнѣ уже столь близкое, привычное, дорогое, будетъ сразу у меня отнято, — сразу и уже навсегда, навѣки, сколько бы тысячелѣтій ни было еще на землѣ? Какъ этому повѣрить, какъ съ этимъ примириться? Какъ постигнуть всю потрясающую жестокость и нелѣпость этого? Ни единая душа, не взирая ни на что, втайнѣ не вѣритъ этому. Но откуда же тогда та боль, что неотступно преслѣдуетъ насъ всю жизнь, боль за каждый безвозвратно уходящій день, часъ и мигъ?

А за обѣдомъ — человѣческая суета суеть. „Въ мысляхъ у нихъ, что дома ихъ вѣчны и что жилища ихъ въ родъ и родъ...“ Разговоръ начался съ Россіи. И конечно вскорѣ перешелъ на „царизмъ“, — вѣдь это для европейцевъ эмблема всей Россіи, нѣчто особенно загадочное и даже ужасное, — коснулся японской войны и перелома, вызваннаго ея послѣдствіями, затѣмъ тѣхъ событій, которыми этотъ переломъ сопровождался и наконецъ общихъ вопросовъ: о парламентаризмѣ и абсолютизмѣ, о консерваторахъ, о социальныхъ неравенствахъ, о собственности. Тутъ, какъ и слѣдовало ожидать, вспыхнули страсти. Человѣчество все еще въ тѣсномъ кругу тѣхъ нѣсколькихъ законовъ, которые были установлены на Синаѣ!

Капитанъ оказался крутымъ собственникомъ, первый офицеръ, тоже бретонецъ, его тихимъ, но стойкимъ сообщникомъ, въ то время какъ второй, маленькій, черноглазый, похожій на южнаго итальянца, злымъ и огненнымъ социалистомъ, а старшій механикъ вообще революционеромъ, яростнымъ громовержцемъ театрално - напыщенныхъ общихъ фразъ. Онъ, огромный, черный, усатый, свирѣпо скрежеталъ ручкой кофейной мельницы и, пожирая глазами капитана, мощно декламировалъ въ такомъ приблизительно родѣ:

— А, капитанъ, вы хотите, застоя, рабства передъ рутинной, вы хотѣли бы запрудить всѣ потоки, что стремятся уже отовсюду, сливаясь въ одинъ грозный потокъ, который, — я вѣрю въ это! — уже скоро, скоро сломитъ всѣ преграды на своемъ побѣдоносномъ пути!

Второй офицеръ не оставалъ отъ механика, говорилъ вмѣстѣ съ нимъ въ одно и то же время, не громко, однообразно, но тѣмъ страстнѣе засыпая капитана фразами того же порядка и тоже остановивъ на немъ свои злые, какъ у змѣи, сплошь черные глаза. А капитанъ смотрѣлъ на того и на другого спокойно, надменно-презрительно, отлично зная и чувствуя, что, не взирая на всю свою видимую независимость, на всю свободу, съ которой будто бы могутъ французскіе граждане имѣть какія угодно мнѣнія и сужденія, эти социалисты очень побаиваются его. И онъ былъ правъ, потому что, какъ только онъ открывалъ ротъ, рѣчи обрывались, и онъ не спѣша бросалъ короткія наставительныя фразы.

— У меня на родинѣ домъ, хозяйство, семья, — сказалъ онъ наконецъ особенно вѣско и раздѣльно. — У меня есть нѣкоторый капиталъ, заработанный двадцатилѣтнимъ плаваніемъ, — а вы хорошо знаете, что значитъ плавать двадцать лѣтъ, — и вотъ, въ одинъ прекрасный день, вы, господа социалисты, придете отнимать у меня все это. Какъ же вы думаете, что я сдѣлаю? Я вотъ что: я безъ всякаго колебанія задушу перваго, кто двинется на мой порогъ, я зажгу домъ, перерѣжу скотъ, опустошу садъ и швырну деньги въ море! Пусть послѣ этого ваши сообщники дѣлаютъ со мной все, что имъ угодно, — жизнь для меня уже не будетъ стоить ни гроша!

И сказавъ такъ, капитанъ медленно допилъ послѣднюю, самую сладкую капельку кофе, аккуратно надѣлъ картузь, поднялся съ видомъ сытаго, сильнаго и во всемъ собой довольнаго человѣка, съ небрежной вѣжливостью пробормоталъ обычное привѣтствіе и пошелъ изъ столовой. И старшій механикъ проводилъ его глазами разъяреннаго кота и театрално прошипѣлъ:

— О, старый реакціонеръ!

17 февраля.

Утромъ прошли Перимъ.

Сейчасъ, послѣ завтрака, идемъ очень близко возлѣ африканскаго берега, низменнаго, пустыннаго, сѣраго, какъ слонъ. Виденъ Обокъ. Дальше, въ безконечной дали, даже туманной отъ обилія солнечнаго свѣта, поднимаются въ небо смутные, знойные призраки Абиссинскихъ горъ. Лежу въ камышевомъ креслѣ на палубѣ, въ жаркой, свѣтлой и душной тѣни подъ тентомъ. Бѣжитъ, вспыхиваетъ блескъ воды за бортомъ, но онъ тусклый. Гляжу изъ-подъ тента: и солнце печетъ тускло, и эти далекія, таинственныя горы, какъ тускляя, чуть видныя, тучи... И какая-то великая тоска во всемъ. Откуда она? Отъ смутной мысли о тѣхъ, которыхъ забрасываетъ судьба въ этотъ безконечно одинокій, маленькій фортъ, на эту пядь полудикой земли, затерянную среди отъ вѣка необитаемыхъ пустынь, свѣтоносныхъ и знойныхъ береговъ таинственной Африки?

Въ четыре стали на рейдъ противъ Джибутти, довольно далеко отъ него. Громадный заливъ, вода зеленоватая. Вдалекѣ налѣво, за линіей рифовъ, эта зелень рѣзко обрѣзана синью, — тамъ уже Индѣйскій Океанъ. Вдалекѣ впереди, на низкомъ побережьѣ, бѣлѣетъ городокъ и мавританскій дворецъ французскаго губернатора. Я стоялъ на верхней палубѣ, смотрѣлъ на него и вдругъ увидѣлъ: къ пароходу быстро несло нѣсколько узкихъ и темныхъ, глубоко сидѣвшихъ въ зеленой водѣ, пироги, изъ которыхъ торчали худые и голые черныя торсы и сѣдые волосы. А черезъ нѣсколько минутъ послѣ этого на бакѣ

„Юнана“ уже стояла кучка еще никогда мной невиданных людей, настоящих диких, тѣхъ, о которыхъ читалъ въ дѣтствѣ: кучка высокихъ черно-шоколадныхъ тѣлъ, одинаково узкихъ въ плечахъ и въ бедрахъ, шелковисто-сухихъ даже на видъ. Это были сомалии, о которыхъ говорятъ, что они еще и теперь не прочь отъ людоедства. Зубы у нихъ сверкали, на головахъ высоко курчавилась желтоватая шерсть, — у нихъ обычай обезцвѣчивать волосы, — шеи поражали длиной, въ тонкихъ профиляхъ было что-то козлиное. Нѣкоторые были съ луками въ ростъ человѣка и, окруживъ меня, на перебой старались продать мнѣ лукъ. А я смотрѣлъ на ихъ наготу и испытывалъ какое-то странное, даже какъ-будто стыдное, райское (да, истинно райское) чувство.

До заката сомалии работали, — изъ Джибутти пришла баржа съ углемъ, и они перекидывали уголь изъ баржи въ нутро нашего парохода. Къ закату баржа опустѣла. Сомалиямъ выдали по булкѣ и по бумажному фунтику финиковъ. И, отдыхая, они сидѣли въ баржѣ и ужинали, а одинъ стоялъ на кормѣ и по мусульмански молился. Никогда, кажется, не видалъ я такой трогательной молитвы, — такой горячей благодарности Богу за жизнь, за день труда, за эту булку и горсточку финиковъ! А закатъ алѣлъ и меркъ, и дулъ теплый, сладкій вѣтеръ.

18 февраля.

День жаркій, тихій.

Ѣздили въ Джибутти. Гребцы голые, голы и тѣ, что встрѣчаются въ пирогахъ, то есть, по нашему, дубкахъ. Глубоко, почти съ краями, сидитъ этотъ дубокъ въ теплой водѣ, а изъ него по-поясъ торчитъ голое тѣло, работающее однимъ весломъ. И опять сильное, живое чувство первобытнаго, теплаго, райскаго.

Городъ маленькій, новый, но какой-то забытый Богомъ, захолустный. Магазины какъ у насъ въ уѣздныхъ городахъ. Ходили на окраину; тамъ лачуги, мухи на мусорѣ и нечистотахъ, жара, базаръ. Дальше — пески, полная пустыня, таборъ сомалиевъ, живущихъ уже совсѣмъ по своему, съ первобытной дикостью. Шатры, козы, голые черные дѣти и, конечно, опять

нечистоты... Отвратно? Нѣтъ, страшно по первобытности, по древности, а разъ такъ, чувства пробуждаются совсѣмъ иныя, високаго, почти жуткаго порядка. Тысячелѣтіями идетъ эта полуживотная жизнь. Но надъ нею — намъ невѣдомыя Божьи цѣли. Въ этомъ грязномъ человѣческомъ гнѣздѣ, среди этого, этой первозданной пустыни, тысячелѣтіями длятся рожденія и смерти, страсти, радости, страданія. Зачѣмъ? Безъ нѣкоего смысла быть и длиться это не можетъ.

Все же какая-то великая тоска, великая безнадежность царитъ надъ этой юдолюю, надъ этимъ глухимъ и скуднымъ человѣческимъ жильемъ.

19 февраля.

Уже въ Океанѣ. Совсѣмъ особое чувство — безграничной свободы, вѣчности...

Снялись рано, въ четыре часа, на разсвѣтѣ.

Прохладнѣе отъ муссона, весь день боковая качка.

Поздно вечеромъ опять были въ штурманской рубкѣ, смотрѣли карту нашего пути. Путь нашъ прямо на востокъ. Потомъ былъ на верхней палубѣ. Четверть мѣсяца стоитъ очень високо и свѣтитъ очень ярко, — съ правой стороны настоящая лунная ночь. Розсыпь Оріона въ зенитѣ. Южный Крестъ на югѣ, въ большомъ пространствѣ почти пустого неба. Смотрѣлъ на него и вдругъ вспомнилъ, что у Данте сказано: „Южный Крестъ освѣщаетъ предверіе Рая“. Слѣва низко лежала серебромъ раскинутая по темносинему небо-склону Большая Медвѣдица, подъ нею, почти на горизонтѣ, печально бѣлѣла Полярная Звѣзда. А на востокѣ точно вѣтромъ раздувало какую-то огромную и великолѣпную звѣзду, ровно и сильно пылавшую краснымъ огнемъ. И ходъ нашъ былъ прямо на нее.

Ив. Бунинъ.



Статьи

КЛЕВЕТА НА БОРАТЫНСКАГО

Исполнившаяся въ этомъ году сто двадцатипятилѣтняя годовщина со дня рожденія Е. А. Боратынскаго вызвала славословія этому замѣчательнѣйшему, до сихъ поръ еще какъ слѣдуетъ неоцѣненному поэту; но на ряду со славословіями раздался голосъ и придушенной, но не задушенной клеветы. Въ одномъ изъ новыхъ парижскихъ клубовъ, въ день чествованія Боратынскаго, нѣкто выступилъ со словомъ привѣтствія... К. Д. Бальмонтъ и, ссылаясь на авторитетъ „нѣкоторыхъ изслѣдователей“, сказалъ приблизительно слѣдующее: „Только разъ Боратынскій возсталъ на Пушкина и назвалъ его «пошлымъ гласомъ», но потомъ раскаялся въ этомъ“. Эта возрожденная клевета на Боратынскаго была вскорѣ повторена и въ одной изъ парижскихъ газетъ.

Нѣтъ ничего нелѣпѣе и неостроумнѣе этой клеветы; нѣтъ ничего проще доказать ея нелѣпость и неосновательность; и можетъ быть она не заслуживала бы вниманія и опроверженія, если бы не питалась тѣмъ источникомъ — ложнымъ пониманіемъ природы Боратынскаго, — который породилъ одну за другой клеветы на Боратынскаго: стоило доказать несостоятельность одной клеветы, какъ мѣсто ея занимала другая, третья... Легко было отсѣкать головы клеветническаго змѣя, но трудно было помѣшать появленію новой головы на мѣсто отсѣченной. И до тѣхъ поръ, пока не изсякнетъ самый источникъ — невѣрное пониманіе личности Боратынскаго — до тѣхъ поръ будетъ возрождаться, въ томъ или иномъ видѣ, и клевета на большого русскаго поэта, якобы завидовавшаго Пушкину и его успѣху.

Поэзія Боратынскаго казалась такой мрачной и исполненной такого пессимизма (свѣтлыя, оптимистическія стороны

міровоззрѣнія и творчества Боратынскаго трудно разглядѣть), что и самъ Боратынскій казался какимъ-то мрачнымъ, нелюдимымъ человѣкомъ, который долженъ былъ отрицать свѣтлое явленіе Пушкина и — естественно — завидовать ему. Съ такой готовой предпосылкой и подходили къ поэзіи Боратынскаго и старались въ ней найти намекъ на скрытую зависть и недоброжелательство къ Пушкину, вѣруя въ то, что всякое слово осужденія относится именно къ Пушкину.

Есть у Боратынскаго стихотвореніе, которое онъ печаталъ безъ всякаго заглавія:

Не бойся ѣдкихъ осужденій,
Но упоительныхъ похвалъ:
Не разъ въ чаду ихъ мощный геній
Сномъ разслабленья засыпалъ.

Когда довѣрясь ихъ измѣнѣ,
Уже готовъ у моды ты
Взять на вѣнокъ своей Каменѣ
Ея тафтяные цвѣты, —

Прости, я громко негодую;
Прости, наставникъ и пророкъ,
Я съ укоризной указую
Тебѣ на лавровый вѣнокъ.

Когда по ребрамъ крѣпко стиснуть
Пегасъ удалымъ сѣдокомъ,
Не горе, ежели прихлыстнуть
Его критическимъ перомъ.

Такова сила внушенія, что эта пьеса, вплоть до академическаго изданія, во всѣхъ изданіяхъ сочиненій Боратынскаго печаталась подъ заглавіемъ „А. С. Пушкину“, между тѣмъ какъ во всѣхъ современныхъ копіяхъ жены поэта, Ан. Л. Боратынской, стихотвореніе озаглавлено „А. Н. М.“, т. е. Андрею Николаевичу Муравьеву, ученику Боратынскаго въ поэзіи: не „наставнику и пророку“ Пушкину указываетъ Боратынскій съ укоризной на лавровый вѣнокъ и даетъ ему наставленія, а „наставникъ и пророкъ“ Боратынскій даетъ наставленія юному, начинающему поэту, своему ученику — А. Н. Муравьеву.

Изъ всѣхъ обвинительныхъ актовъ противъ Боратынскаго самый жестокий, но самый неосновательный, наивно-неосновательный, былъ составленъ И. Щегловымъ. Въ своихъ „нескромныхъ догадкахъ“ И. Щегловъ дошелъ до такой „нескромности“, что утверждалъ, будто бы Пушкинъ въ своемъ „Моцартъ и Сальери“ писалъ образъ Сальери съ Боратынскаго. Безъ труда, но блестяще Щегловъ былъ разбитъ Валеріемъ Брюсовымъ, доказывавшимъ не столько то, что Боратынскій никогда не былъ завистникомъ — Сальери, сколько то, что Пушкинъ не смотрѣлъ, да и не могъ смотрѣть на своего друга Боратынскаго, какъ на Сальери.

Блестяще опрокинувъ „нескромную“ и неумную догадку И. Щеглова, Валерій Брюсовъ самъ въ то же время подалъ поводъ для распространенія новой клеветы-легенды о Боратынскомъ: В. Брюсовъ усмотрѣлъ въ „пошломъ гласѣ“ „Осени“ отзывъ о творествѣ Пушкина.

Пятнадцатая строфа (*третья съ конца*) прекрасной лирической поэмы Боратынскаго читается въ „Сумеркахъ“ — послѣднемъ сборникѣ Боратынскаго — такъ:

Вотъ буйственно несется ураганъ,
И лѣсъ подьѣмлетъ говоръ шумной,
И пѣнится, и ходитъ океанъ,
И въ берегъ бьетъ волной безумной:
Такъ иногда толпы лѣнивый умъ
Изъ усыпленія выводитъ
Гласъ, пошлый гласъ, вѣщатель общихъ думъ,
И звучный отзывъ въ ней находитъ;
Но не найдетъ отзыва тотъ глаголь,
Что страстное земное перешель.

Почему подъ „пошлымъ гласомъ“ надо понимать Пушкина — совершенно непонятно. Кажется очевиднымъ, что такія слова, какъ „пошлый гласъ, вѣщатель общихъ думъ“, Боратынскій могъ сказать изъ злобы, изъ раздраженія, изъ оскорбленнаго самолюбія, но никакъ не изъ зависти; кажется очевиднымъ, что тонъ этихъ стиховъ можетъ быть сопоставленъ съ тономъ другого стихотворенія Боратынскаго (1842 г.) —

Толкнулъ глупца души моей порывъ,
 Онъ вызвать могъ меня на бой кровавый,
 Но подо мной, сокрытый ровъ изрывъ,
 Свои рога вѣнчалъ онъ падшей славой, —

но никакъ не съ современнымъ написанію 15-ой строфъ „Осени“ письмомъ о смерти Пушкина, глубоко потрясшей Боратынского...

Къ 1837 году — году смерти Пушкина — относится три стихотворенія Боратынского — „Осень“, „Новинское“ и „Начала мысль, воплощена“, — и одно изъ нихъ, но не „Осень“, а „Новинское“, относится къ Пушкину; совсѣмъ не „пошлый гласъ“ составляетъ содержаніе этой пьесы, посвященной памяти Пушкина, только что перешедшаго „страстное земное“:

Она улыбкою своей
 Поэта въ жертвы пригласила,
 Но не любовь, отвѣтомъ ей,
 Взоръ ясный думой осѣнила.

Нѣтъ, это былъ сей легкій сонъ,
 Сей тонкій сонъ воображенья,
 Что посылаетъ Аполлонъ
 Не для любви, для вдохновенья.

Но мало того: обстоятельства написанія „Осени“ не только дѣлаютъ неправдоподобной, а и совершенно исключаютъ мысль о томъ, что „пошлый гласъ“ относится къ Пушкину. „Осень“ была начата въ 1836 году, но заканчивалъ ее Боратынскій въ 1837 году, и когда поэтъ писалъ послѣднія строфы, до него дошла вѣсть о смерти того, въ комъ онъ видѣлъ величайшаго русскаго поэта, призваннаго совершить великій подвигъ. Глубоко взволнованный и убитый этой печальной вѣстью, Боратынскій написалъ письмо, начавъ его словами Теофана Прокоповича на смерть Петра Великаго. Боратынскій негодовалъ, какъ друзья Пушкина могли допустить его смерть, и впалъ въ состояніе, близкое къ отчаянію и болѣзни души. Быть можетъ, въ связи съ извѣстіемъ о смерти Пушкина находится безнадежно-печальный и мрачный финалъ пьесы (послѣ строфъ объ „оправданномъ Промыслѣ“, передъ которымъ поэтъ готовъ былъ пасть ницъ „съ признательнымъ смиреньемъ, съ надеждою не видящей границъ и утоленнымъ разумънемъ“):

Зима идетъ, и тощая земля
Въ широкихъ лысинахъ безсилья,
И радостно блиставшія поля
Со смертью жизнь, богатство съ нищетой,
Всѣ образы години бывшей,
Сравниются подъ снѣжной пеленой,
Однообразно ихъ покрывшей:
Передъ тобой таковъ отнынѣ свѣтъ;
Но въ немъ тебѣ грядущей жатвы нѣтъ.

И вотъ тогда же — послѣ полученія вѣсти о смерти Пушкина — поэта и друга, Боратынскій написалъ и инкриминируемую ему строфу, и написалъ не въ томъ видѣ, въ какомъ она была напечатана въ „Сумеркахъ“ и въ какомъ потомъ перепечатывалась въ посмертныхъ изданіяхъ сочиненій Боратынского, а въ слѣдующемъ:

Вотъ буйственно несется ураганъ,
И лѣсъ подьѣмлетъ говоръ шумной,
И пѣнится, и ходитъ океанъ,
И въ берегъ бьетъ волной безумной:
Такъ иногда толпы лѣнивой умъ
Изъ усыпленія выводитъ
Гласъ, дикій гласъ, вѣщатель общихъ думъ,
И звучный отзывъ въ ней находитъ;
Но высшаго понятія глаголъ
Долъ носится, не отзываясь долъ.

Трудно, невозможно допустить (да и нѣтъ рѣшительно никакихъ оснований для такого допущенія), чтобы Боратынскій, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ сразившаго его извѣстія о смерти Пушкина, называлъ его „дикимъ гласомъ“ и „вѣщателемъ общихъ думъ“ (Боратынскому болѣе чѣмъ кому-либо было извѣстно, что послѣдніе годы Пушкинъ все менѣе и менѣе находилъ себѣ отзывъ въ толпѣ и совсѣмъ не являлся „вѣщателемъ общихъ думъ“; выраженіе же „дикій гласъ“ звучитъ непонятно-дико въ примѣненіе къ Пушкину, къ тому Пушкину, котораго зналъ, любилъ, признавалъ и высоко цѣнилъ Боратынскій).

И если невозможно допустить, чтобы извѣстіе о смерти Пушкина внушило такіе стихи Боратынскому, то еще менѣе допустимо предположеніе, чтобы въ слѣдующіе 4 года послѣ смерти Пушкина въ Боратынскомъ росла ненависть къ Пуш-

кину и къ его памяти, и чтобы онъ могъ противопоставлять себя, въ качествѣ перешедшаго страстное земное, Пушкину, который дѣйствительно четыре года тому назадъ перешелъ порогъ „страднаго земнаго“. Валерій Брюсовъ упустилъ изъ виду, что окончаніе строфы —

Такъ иногда толпы лѣнивой умъ
Изъ усыпленія выводитъ
Гласъ, пошлый гласъ, вѣщатель общихъ думъ,
И звучный отзывъ въ ней находитъ;
Но не найдетъ отзыва тотъ глаголъ
Что страстное земное перешелъ —

написано не въ 1836-1837 г.г., а въ 1841-1842 г.г., когда поэтъ передѣлывалъ свою „Осень“ для включенія ее въ свой сборникъ „Сумерки“. Сказать о своемъ покойномъ другѣ — великомъ поэтѣ, что его „пошлый гласъ, вѣщатель общихъ думъ“ находитъ звучный отзывъ въ толпѣ и противопоставить ему свой „глаголъ что страстное земное перешелъ“ — верхъ безмыслія и нечуткости!

(Замѣтимъ въ скобкахъ, что это наростаніе ненависти, раздраженія и гнѣва съ 1837 по 1842 годъ мы замѣчаемъ въ Боратынскомъ въ отношеніи Бѣлинскаго и той „коттеріи“ московскихъ литераторовъ, которая омрачила послѣдніе годы жизни Боратынскаго и довела его до состоянія, близкаго къ душевной болѣзни, отъ котораго поэтъ сталъ оправляться въ Петербургъ и за-границей).

Таковы три несостоятельныя легенды-клеветы объ отрицаніи Боратынскимъ поэзіи Пушкина. Разрушить ихъ не трудно; но кто поручится за то, что на мѣсто ихъ не возникнетъ новая, столь же неумная клевета? — Возникновеніе такого рода клеветъ (или возрожденіе старой, уже сданной въ архивъ — какъ это имѣло мѣсто съ послѣдней, третьей клеветой) всегда возможно до тѣхъ поръ, пока существуетъ подозрѣніе въ недоброжелательномъ отношеніи Боратынскаго къ современнымъ ему поэтамъ вообще и къ Пушкину въ частности. Питается это подозрѣніе отчасти и тѣмъ обособленнымъ положеніемъ,

какое занималъ Боратынскій въ современной поэзіи, и рѣзко выраженнымъ стремленіемъ его къ обособленности. Боратынскій стремился въ поэзіи отмежеваться отъ Пушкина, итти своею, независимою и непохожею на Пушкинскую дорогою, но не потому, чтобы онъ отрицалъ поэзію Пушкина, не потому, чтобы считалъ ее недостойною подражанія, а потому, что глубоко вѣрилъ въ ненужность всякаго повторенія, всякаго подражанія. Подражатели казались ему развращенными нищими, молящими „лепты незаконной съ чужимъ ребенкомъ на рукахъ“, и къ великому Мицкевичу онъ обращался съ горячимъ призывомъ:

Не подражай: своеобразенъ геній
И собственнымъ величіемъ великъ.
Шекспировъ-ли, Доратовъ-ли двойникъ,
Досаденъ ты: не терпятъ повтореній.
Съ Израилемъ пѣвцу одинъ законъ:
Да не творить себѣ кумира онъ.
Когда тебя, Мицкевичъ вдохновенный,
Я застаю у Байроновыхъ ногъ,
Я думаю: поклонникъ униженный,
Возстань, возстань и вспомни: самъ ты богъ!

И чѣмъ больше обозначался геній Пушкина, чѣмъ больше вызывалъ онъ въ Боратынскомъ восхищенія, признанія и радость (чувства, далекія отъ зависти), тѣмъ больше стремился Боратынскій къ тому, чтобы итти своею дорогою.

Сильно преувеличенъ пессимизъ и мрачность творческаго лика и личности Боратынскаго. Были моменты въ личной жизни Боратынскаго, когда мрачность его доводила до самоубійства и до душевной болѣзни: поэтъ былъ близокъ къ самоубійству послѣ исключенія его изъ Пажескаго корпуса за участіе въ кражѣ и былъ близокъ къ душевной болѣзни въ концѣ 30-хъ годовъ подъ вліяніемъ той травли, которая поднята была Бѣлинскимъ и иже съ нимъ. Но во всѣ другіе моменты Боратынскій отнюдь не былъ мраченъ и даже свое финляндское изгнаніе переносилъ не терпѣливо-стоически, а легко. Боратынскій избѣгалъ большого, многолюднаго общества, но въ тѣсномъ кругу друзей онъ былъ и вѣрнымъ другомъ, и человекомъ рѣдкихъ душевныхъ свойствъ (не зависти и не недоброжела-

тельства), и увлекательнымъ, интереснымъ собесѣдникомъ; тотъ, кто разъ подходилъ поближе къ Боратынскому, тотъ не могъ не цѣнить его и не любить его всѣмъ сердцемъ (какъ любили его Пушкинъ, Дельвигъ, Кирѣевскій, Путята... и всѣмъ имъ Боратынскій платилъ такую же чистою монетою чистаго сердца); отпугивала нѣсколько друзей Боратынскаго его деспотическая жена, Анастасія Львовна, но никогда не самъ онъ. Доброжелательный къ людямъ, Боратынскій особенно доброжелательно относился ко всякому поэтическому дарованію: этотъ Щегловскій „Сальери“ искренно радовался всякому проявленію поэзіи въ другихъ *). Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно прочесть письма Боратынскаго, посланія его къ друзьямъ и воспоминанія о немъ его современниковъ. Мрачный характеръ пессимистической поэзіи Боратынскаго нисколько не противорѣчитъ такому свѣтлому и ясному добродушію и сердечной любви, почти влюбленности, къ друзьямъ. Преувеличить пессимизмъ міровоззрѣнія и поэзіи Боратынскаго невозможно, ибо никогда ни до него, ни послѣ него въ русской поэзіи не звучалъ такъ безнадежно мрачно, мрачный гимнъ безнадежности:

На что вы дни? Юдольный міръ явленья
Свои не измѣнить.
Всѣ вѣдомы, и только повторенья
Грядущее сулитъ.

Напрасно ты металась и кипѣла,
Развитіемъ спѣша;
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла
Безумная душа.

И тѣсный кругъ подлунныхъ впечатлѣній
Сомкнувшая давно,
Подъ вѣяньемъ возвратныхъ сновидѣній
Ты дремлешь; а оно

*) Исключенія Боратынскій не дѣлалъ и для Лермонтова, личность котораго отталкивала отъ себя Боратынскаго: Боратынскій, находя въ Лермонтовѣ „что-то нерадушное, московское“ (а въ Москвѣ была ненавистная „коттерія“), признавалъ въ его поэзіи высокія достоинства и посвятилъ стихотвореніе „Памяти поэта“ (на смерть Лермонтова).

Безсмысленно глядитъ, какъ утро встанетъ,
Безъ нужды ночь смѣня,
Какъ въ мракъ ночной бесплодный вечеръ канетъ,
Вѣнецъ пустаго дня!

Преувеличить эту безнадежность, повторяемъ, трудно, но легко совершить другую ошибку — распространить пессимизмъ Боратынскаго на ту область, въ которой онъ былъ не пессимистомъ, а оптимистомъ. Поэзія Боратынскаго была мрачной и пессимистической, но только въ отношеніи міра явленій съ его предопредѣленностью и бессмысленной повторяемостью; предъ Промысломъ оправданнымъ Боратынскій падалъ ницъ, въ поэзіи онъ видѣлъ „живую вѣтвь съ родного берега“ и свѣтло и радостно радовался всякимъ проявленіямъ истинной поэзіи — всѣхъ своихъ современниковъ и особенно Пушкина.

О пессимизмѣ Боратынскаго много писали — пора вспомнить и объ его оптимизмѣ, о его живой вѣрѣ.

М. Л. Гофманъ.



ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛИРИКА

Кругъ поэтическихъ темъ пролетарской поэзіи крайне ограниченъ. По самой своей природѣ она обращена къ временному и преходящему: это поэзія класса, противопоставляющаго себя остальному человѣчеству, поэзія борьбы и вражды. Пафосомъ социальнаго неравенства держится она. Существованіе пролетаріата обусловлено существованіемъ буржуазіи. Послѣ побѣды надъ капитализмомъ, кончится и пролетаріатъ, и его литература. Классовая борьба должна привести къ уничтоженію классовъ, а слѣдовательно вся такъ называемая „пролетарская культура“ — явленіе преходящее. Воинственный пылъ станетъ бессмысленнымъ въ мирное время. Нельзя будетъ продолжать обличать и проклинать угнетателей, когда ихъ не будетъ и въ поминѣ. А вѣдь именно — пылъ негодованія и раскалъ ненависти — нервъ всей этой поэзіи.

И теперь уже, при диктатурѣ пролетаріата — многіе стихи молодыхъ поэтовъ кажутся безнадежно устарѣлыми: призывъ къ борьбѣ и мщению, скорбныя пѣсни о несчастной долѣ „проклятемъ клейменныхъ“, жалобы на тупой и рабскій трудъ безъ просвѣта — всѣ эти привычные шаблоны „гражданской поэзіи“, не соответствуютъ измѣнившейся дѣйствительности.

Съ торжествомъ рабочаго класса — изсякаетъ самый полноводный источникъ классоваго вдохновенія — „гражданская скорбь“. Наилучше эффектные сюжеты отпадаютъ: на примѣръ, чахоточный шахтеръ, ослѣпшій отъ мрака, выбивается изъ послѣднихъ силъ въ пользу капиталиста; дома — въ сыромъ и промозгомъ подвалѣ стонетъ больная жена, жалобно плачутъ голодные дѣти... Вдохновенный борецъ за свободу изне-

могаетъ въ сырой тюрьмѣ: онъ, умирая, цѣпляется руками за рѣшетку, а безжалостные палачи издѣваются надъ его рыдающей старухой-матерью... Блѣдная дѣвушка швея, съ пальцами, исколотыми иглой, днемъ и ночью сгибается надъ работой, а рядомъ въ блестящихъ хоромахъ пируютъ буржуи.

Нѣтъ, все это теперь непригодно: деспотъ больше не „пируетъ въ роскошномъ дворцѣ“, ссыльные революціонеры не томятся на рудникахъ и трудъ — болѣе не проклятiе. Что-же остается? Побѣдные гимны, торжественные марши и ликующія пѣснопѣнія. Этого можетъ хватить на нѣсколько лѣтъ — а дальше грозитъ полное безплодіе. Пролетарская поэзія — всегда была „идейной“ и обстрактной. Жизнь ей чужда. Она вдохновляется теоріями и тезисами. Она выросла въ подпольи, у нея книжное отношеніе къ дѣйствительности. Революціонная работа развила ея цѣлеустремленность и убила воображеніе. Непосредственнаго подхода къ человѣку, его душѣ и личности у нея быть не могло: она защищала только профессиональные интересы.

И вотъ теперь, когда старые трафареты (Некрасовъ - Никитинъ - Верхарнъ) ей измѣняютъ, она оказывается въ полной безпомощности. Какія темы остались? Машина, фабрика, механика, заводы: апофеозъ физическаго труда, обожествленіе горна, наковальни, доменной печи: мечты о превращеніи всего міра въ мастерскую... Эти „индустриальные мотивы“ развиваются широко и однообразно. Каждый поэтъ считаетъ своимъ долгомъ написать по этому поводу хоть десятокъ стихотвореній. Откройте пролетарскую антологию и прочтите заглавія: „Кузнецъ“, „Въ купели чугуна“, „Пѣсня о желѣзѣ“, „Радость труда“, „Заводъ“, „Каменщикъ“, „Небесный заводъ“, „Рубанокъ“, „Въ швейной мастерской“, „Спящій заводъ“, „Мускулы“, „Заводъ“, „Шахтеръ“, „Ткачиха“, „Молотобоецъ“, „Въ заводѣ“, „Въ заводѣ“, „За станкомъ“, „Машинный рай“, „Фонарщикъ“, „Угольщикъ“, „Фабричная идиллія“, „Кузница“, „Ткачи“, „Въ заводѣ“, „Кузнецы“, „Въ столярной мастерской“.

Тема „трудъ побѣдитъ міръ“, „мы куемъ новую жизнь“, „мы ткемъ грядущее“, „мы строимъ будущее“ — варьируется со всѣми риторическими украшениями. Это — напряженная дек-

ламація съ восклицаніями, гиперболами и словами съ большой буквы. Это митингово-ораторскій стиль. Десять стихотвореній о „кузнецѣ“, сто стихотвореній о фабрикѣ — до конца исчерпываютъ сюжетъ. Во всѣхъ этихъ длинныхъ поэмахъ ни одного живого слова, ни одного свѣжаго образа. Поэты изображаютъ „идеальнаго кузнеца“, „обстрактную фабрику“. — Они не видятъ, что происходитъ вокругъ нихъ. Одни и тѣ-же верхарновскія карты тасуются безконечно.

Достаточно одного примѣра:

„Искры пескомъ, когда грянетъ самумъ
Искры метнулись мятежью лучистыхъ колець.
Надъ челомъ любого, точно вѣнецъ.
Каждый профиль сталъ бронзовъ, каждый буръ.
Точно группы дивныхъ скульптуръ.

Восхваленіе мускуловъ и машинъ — мотивъ весьма ограниченный. Но даже онъ не подъ силу пролетарскимъ поэтамъ. „Радость труда“ такъ недавно смѣнившая „проклятіе труда“ — не трогаетъ и не заражаетъ. Есть въ ней что-то официальное и унылое. Эта область лежитъ гдѣ-то далеко отъ широкой поэтической дороги. Подлинная лирика бываетъ только о человеческомъ и вѣчномъ: „душа машины“ — метафора и притомъ поэтически бесплодная. Лирика живетъ атавистическими чувствами: ощущеніемъ вѣчности, любовью, вѣрой. Просвѣщенные марксисты о такихъ предразсудкахъ писать не могутъ: у пролетаріата — лирики быть не можетъ.

Утвержденіе это — не парадоксъ: посмотрите сборники этихъ поэтовъ: вы не найдете въ нихъ ни одной мысли, поднимающейся надъ землей: самая дерзновенная ихъ мечта не простирается дальше міровой электрификаціи: они самоувѣрены и самодовольны: живутъ жизнью класса и къ смерти относятся съ научно-біологической точки зрѣнія. Ни тайнъ, ни чудесъ для нихъ не существуетъ. Чувство трагическаго у нихъ просто атрофировано. Они матеріалисты, атеисты, утописты, все это — свойства, не вредныя для инженера-электротехника, но пагубныя для поэта.

Исконная „алиричность“ пролетарской поэзіи, особенно ясно вскрывается въ стихотвореніяхъ любовныхъ. Ихъ не

много: „изнѣженная женская любовь“ — не въ почетѣ у суровыхъ труженниковъ. Они слишкомъ поглощены общественнымъ дѣломъ, чтобы предаваться „чувствамъ“. Появляется новый шаблонъ: сознательный товарищъ отвергаетъ влюбленную въ него дѣвушку. Партийный долгъ побѣждаетъ страсть.

С. Родовъ поетъ:

Горечь побѣды слаже
Меда грудей твоихъ.
Заводы въ пепельной сажѣ
Славятъ мой стихъ.

Спайка товарищѣй, вѣрныхъ и грубыхъ,
Дольше любовныхъ узъ.
Въ пѣсняхъ моихъ въ рабочихъ клубахъ
Поютъ про этотъ союзъ.

Въ „ритмической“ прозѣ Тарасова-Родионова это новое спартанство находитъ свое классическое выраженіе. Товарищъ Зудинъ такъ отвѣчаетъ на „порывъ“ своей секретарши: „Насъ бодритъ, какъ громъ, кличъ рабочаго класса. И его заглушить, промѣнять, позабыть?.. ради чувства изнѣженной женской любви?! Много сладкаго есть кое-гдѣ шеколада, но онъ намъ чуждъ: къ нему мы совсѣмъ не привыкли; своей мягкостью онъ намъ только мѣшаетъ въ жестокой борьбѣ, а коль такъ, намъ его и не нужно“. Любовь — это „бабье, пустяки“. При такомъ умонастроеніи становится понятной безнадежная пустота пролетарской поэзіи. Да, если любовь — шеколадъ, многого о ней не напишешь.

Но, товарищи — отнюдь не аскеты. Они люди трезвые и практичные — они знаютъ, что аскетизмъ вреденъ для здоровья. Упраздняя психологию любви, они не отказываются отъ ея физиологии. Ихъ отношеніе къ женщинѣ упрощено — вмѣсто любовныхъ бредней и романтическихъ экстазовъ — половая гигиена:

Послѣ дружнаго труда
Отдохнуть отрадно
У фабричныхъ досокъ
Пылкое признанье.
Эхъ, ты, звѣздный вечерокъ,
Голубое зданье.

(Соколовъ)

Такая же частушечная эротика и у Доронина:

Ой, цвѣти,
Цвѣти, кудрявая рябина.
Наливайтесь грозди
Сокомъ вешнимъ.
Я намедни,
Я намедни у овина
Цѣловалась
Съ миленькимъ нездѣшнимъ.

Весеннее вождельнѣе носить природный, безликий характеръ: оно не дошло еще до степени личного чувства, которое принято называть любовью. Все равно чье „признаніе“, все равно, кто тотъ „миленькій нездѣшній“.

У пролетарскихъ поэтовъ — любовь анонимная „классовая“, они любятъ на-спѣхъ, дѣловито, безъ „телячьихъ нѣжностей“.

Только забудусь на мигъ,
Снова слышится крикъ.
Крестъ отъ креста отдѣлю,
Тѣло твое разлюблю.
Снова на вызовъ трубы
Пѣсней отвѣчу борьбы,
Выйду къ товарищамъ въ ночь
Въ битвѣ жестокой помочь.

(С. Родовъ)

Любовные мотивы играютъ служебную роль; они подчинены классовымъ интересамъ. Поэтъ Малашкинъ усиливаетъ пафосъ своей „гражданской скорби“ отвратными эротическими подробностями. „Послѣ работы тяжелой, упорной“ изможденные страдальцы-работчіе:

„Въ пропитанныхъ потомъ и плотью постеляхъ
Въ блѣдныя губы,
Въ синія губы
Цѣлуя, безсчетно цѣлуя
Женъ малокровныхъ, отъ пищи плохой и ударовъ труда,
Вѣкового труда,
Мы крѣпко любили,
Больно любили
И прижимали къ себѣ, кость о кость ударяя...“

Передъ картиной этой горькой доли трудящихся, нельзя не содрогнуться. Цѣль автора достигнута: своимъ „кость о

кость ударяя“ онъ показалъ намъ неизбежность социальнаго переворота.

Любовная агитка не всегда „масабге“: бываютъ и анекдотики. Вотъ „Повѣсть о комбригѣ Ивановѣ“ Г. Лелевича. Лихой комиссаръ поселился у попа и завелъ шашни съ поповной.

Комбригъ, смотри! Сильнѣе дуй,
Иль пропадетъ твой трудъ за даромъ...
Какъ сладокъ первый поцѣлуй,
Надъ нераздутымъ самоваромъ.

Онъ хочетъ жениться — но тутъ препятствіе: она требуетъ церковнаго брака. Тогда комбригъ вывѣшиваетъ объявление: „Докладъ о богѣ. Входъ для всѣхъ. Поповъ зовемъ для возражанья“. Полная побѣда: поповна покорена его краснорѣчьемъ.

Домой уходитъ Ивановъ.
За нимъ — побѣда безусловно,
Къ нему прижалася безъ словъ
На все согласная поповна.

Въ данномъ „случаѣ“ любовь использована въ „цѣляхъ борьбы на религіозномъ фронтѣ“.

Закончимъ однимъ изъ шедевровъ пролетарской эротики, поэмой И. Филипченко („Моя поэма“). У поэта стихійный темпераментъ: страсть ввергаетъ его въ неистовство. Но, даже въ „бреду“ знойныхъ объятій онъ не забываетъ о своемъ партійномъ долгѣ, о необходимости бороться за Демократію.

Мои ночи съ тобой,
Моя Нина,
Не остыну,
Мощью, одержимостью, выступимъ въ бой
За тебя, за счастье, за Демократію.

И дальше идетъ подробное описаніе любовныхъ восторговъ.

...И розова ты,
Горяча, ароматна,
Какъ лавра листы,
Тебя я ношу туда и обратно.
Тонкая ткань,
Твой означила станъ,
Нина, я пьянъ,
Нина, близится грань.

Какъ шлемы, горятъ твои дивныя формы
 Вдыбленныхъ груглыхъ грудей, —
 Я срываю всѣ скрѣпы снастей,
 Всѣ вѣтрила,
 Кормила и нормы. (?)
 Губами впиваюсь
 Въ груди твои,
 О, ихъ не таи, не таи,
 Маясь,
 Вжигаюсь въ колѣнки,
 Близокъ безумью,
 Не сдержатъ застѣнки
 Страсть самумью.
 Огонь голубой
 Въ твои губы мечу...

И, оказывается, все это во имя Демократіи! Идея творить чудеса: иначе „огонь голубой мечу“ никакъ не объяснить. Смысль всей этой „страсти самумьей“ въ томъ, что:

„Уже вспыхнулъ разсвѣтъ, загорѣлась заря золотая
 Равенства, братства,
 Будеть богатство и пр.

А потомъ опять за свое:

Колыхаетъ мой мозгъ и мускулы,
 Раскалились уста, какъ желѣзо тавра (?)
 Ласкъ хочу.

Послѣдній отдѣлъ пролетарской любовной лирики — стихи о женщинѣ - товарищѣ. Вотъ она — „кожаной курткой затянутая делегатка“, „дѣвушка - красноармеецъ“, „дѣвушка - рабочій“; смѣлая, мужественная, загорѣлая — „дочь Октября“.

И ихъ, чудаки:
 „О Прекрасной Дамѣ“
 Древніе поэты грезили.
 Товарищъ!
 Вотъ ты — земляная такая,
 А сколько въ тебѣ поэзіи!

Образъ не новый: подъ кожанной курткой скрывается давно намъ извѣстная курсистка - нигилистка, товарищъ Вѣра или Соня, разбрасывавшая нѣкогда прокламаціи, прятанная

„литературу“ и агитировавшая на заводахъ. Какъ литературный типъ, она давно исчерпана — но „Прекрасной Дамой“ ей стать не суждено. Она — безпола. Ее уважаютъ, „товарищески“ жмутъ руку — но въ нее не влюбляются. Она стоитъ за эмансипацію, за равенство половъ. Сравненіе съ Беатриче можетъ ее только обидѣть.

Пролетарская чистая лирика — есть *contradictio in adjectu*. Когда эта простая истина дойдетъ до сознанія молодыхъ поэтовъ, они перестанутъ писать стихи и займутся болѣе полезнымъ партдѣломъ. „Много сладкаго есть кое-гдѣ шеколада: но онъ намъ чуждъ“.

К. Мочульскій.



О НЫНѢШНЕМЪ СОСТОЯНІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

За послѣднее время мнѣ неоднократно приходилось писать о разныхъ явленіяхъ текущей „совѣтской литературы“ и, обсуждая ихъ, находить въ нихъ черты цѣнныя и достойныя вниманія. Не всѣ, конечно, изъ эмигрантскихъ авторитетовъ допускаютъ самую возможность литературнаго подхода къ тому, что печатается въ предѣлахъ Совѣтской Федерациі, и многіе изъ тѣхъ кто такую возможность допускаютъ не находятъ ничего кромѣ скучныхъ мерзостей въ произведеніяхъ писателей, живущихъ въ Россіи. Но „Благонамѣренный“, мнѣ кажется, для того и выходитъ въ свѣтъ, чтобы отстоять право литературной критики, судить по литературнымъ признакамъ. Съ другой стороны, при оцѣнкѣ явленій новыхъ и по возрасту молодыхъ, первая обязанность критика (если онъ именно *критикъ*, а не *chef d'école*) по мѣрѣ силъ отрѣшиться отъ своихъ личныхъ вкусовъ и традиціонныхъ предразсужденій, — и постараться *изнутри* понять и оцѣнить эти явленія. Вкусъ дѣло измѣнчивое и сегодняшніе литературные консерваторы были тридцать лѣтъ тому назадъ скучными пакостниками или забавными кривляками въ оцѣнкѣ консерваторовъ тогдашнихъ. Критикъ долженъ не заботиться о вкусахъ, а пытаться выяснить объективную (*объективную*) цѣнность того, что кругомъ него производится. Задача эта, конечно, безнадежная, и осуществимая только съ самой грубой приблизительностью. У cadaго писателя есть своя объективная величина, опредѣленное количество силы (окончательный коэффициентъ зависитъ, конечно, не отъ одной природной силы, но и отъ того какъ она примѣнена — это

элементарно). Сила эта можетъ быть направлена и противъ „моей“ шерсти. Но смѣрять эту силу — моя обязанность. Силомѣровъ такихъ еще не выдумали. Но, эмпирически, въ концѣ концовъ складывается нѣкоторый общій consensus doctorum, который со временемъ получаетъ большую, можетъ быть, окончательную убѣдительность. Всякій имѣетъ право (и я этимъ правомъ всемѣрно пользуюсь) не любить Достоевскаго и Чехова, и предпочитать имъ, скажемъ, (какъ я предпочитаю) Писемскаго и Кущевскаго. Но утверждать, что Писемскій *больше* Достоевскаго, а Кущевскій *больше* Чехова такъ же явно невѣрно, какъ было бы утверждать, что въ Брюсселѣ больше жителей, чѣмъ въ Лондонѣ. Вотъ съ точки зрѣнія такой объективной „силомѣрной“ оцѣнки я и хочу подойти къ современной русской словесности.

И вотъ первый несомнѣнный фактъ оказывающійся при такомъ подходѣ — наше время сравнительно бѣдно творческими силами, и очень бѣдно умѣниемъ ихъ „прилагать“. Литературное поколѣнiе рожденное послѣ 1831 творчески слабѣе всѣхъ поколѣнiй 19-го вѣка, кромѣ того бѣднѣйшее изо всѣхъ, которое родилось послѣ Лѣскова и раньше Соловьева. Особенно замѣтно его сравнительная бѣдность послѣ предыдущей четверти вѣка — отъ Соловьева, Розанова, Анненскаго и Чехова до Ремизова, Блока и Бѣлаго. Въ „глухiе годы“ между 1-мъ марта и убiйствомъ Плеве, (какъ въ глухiе годы между Польскимъ возстанiемъ и Крымской войной: развить это сближенiе я предоставляю Иванову - Разумнику) русская почва родила плохо. (И еще, замѣтите, сколько „инородцевъ“ въ числѣ самыхъ лучшихъ — Мандельштамъ, Пастернакъ, Бабель). Но хуже чѣмъ эта сравнительная бѣдность (всегаки не такая ужъ полная) — полная непрактичность всей этой „бѣдноты“. За очень немногими исключенiями (главныя: Гумилевъ, Ахматова, Ходасевичъ, Бабель) силы нашихъ литературныхъ современниковъ приложены къ работѣ съ огромной потерей полезной энергiи. Иногда эта потеря благородная, — такъ терялъ время Колумбъ, плывя безъ картъ къ неоткрытой цѣли. Такая временная потеря *можетъ* перейти въ удвоенную экономiю, — такъ у Пастернака. Но обыкновенно это — простое неумѣнiе, незнание

что изъ чего можно сдѣлать, — синичьи попытки поджечь море, горбуновскіе мосты черезъ атлантическій океанъ, и пошехонскія блужданія въ трехъ соснахъ. Самый яркій примѣръ такого рода — Пильнякъ, человѣкъ хорошаго реалистическаго дарованія, но недостаточно умный, и потому растранившій все что имѣлъ на исторіософскія потуги, которыя были бы по плечу Чаадаеву, и на композиціонныя осложненія съ которыми могъ бы справиться Андрей Бѣлый.

Въ „молодомъ“, послѣ - символистскомъ и послѣ - Арцы-башевскомъ поколѣніи слѣдуетъ различать два „призыва“: старшій — люди родившіеся въ 80-хъ годахъ и начавшіе писать до войны — уже отчасти вошелъ въ неизмѣнимые списки исторіи; молодость ихъ относительная. Иныхъ изъ нихъ (Гумилевъ, Хлѣбниковъ) ужъ нѣтъ. Другіе (Городецкій, Сѣверянинъ) давно перестали „считаться“. Третьи (Ахматова, Клюевъ) удалились въ пустыню и если продолжаютъ работать то внѣ всякой мысли о воздѣйствіи на читателя. Алексѣй Толстой, какъ всегда, продолжаетъ давать чудесныя вещи какъ только перестаетъ стараться думать. Замятинъ, сжатый въ тискахъ совѣтской цензуры, можетъ быть таить новыя богатства. Ходасевичъ, съ величайшимъ остроуміемъ символистское міроощущеніе превратившій въ поэтическій приѣмъ, продолжаетъ радовать зарубежнаго читателя стихами, которые никогда не разочаровываютъ. Алдановъ, такой же спокойно законченный, какъ Ходасевичъ, продолжаетъ равномерно развертывать давно задуманныя полотна. Впрочемъ, мнѣ всегда казалось что истинное призваніе Алданова — особаго рода, портретно - политическая публицистика, замѣчательный образецъ которой онъ далъ года три тому назадъ въ статьѣ *Клемансо* и *Людендорфъ*, и въ которой его можно сравнить съ Джономъ Мейнардомъ Кейнсомъ.

Всѣ эти писатели, поскольку они вообще живы, уже „безсмертные“ и если бы у насъ была Академія, никто не былъ бы болѣе достоинъ войти въ нее, чѣмъ Анна Ахматова, Евгенийъ Замятинъ, и Владиславъ Ходасевичъ, — и если въ Академію можно избирать за одно голое дарованіе, Алексѣй Толстой. Эти четыре имени напоминаютъ (какъ мнѣ напомнилъ

объ этомъ на-дняхъ одинъ совѣтскій житель) о двухъ традиціяхъ русской литературы: глупой и умной, — и неслучайно, что изъ четырехъ именъ „академиковъ“ этого поколѣнія, умныхъ трое, хотя у четвертаго хватило бы его „божественнаго дара“ (какъ говорилъ, кажется, Бисмаркъ) на многихъ. И не случайно тоже что въ слѣдующемъ поколѣніи соотношение силъ рѣзко нарушается въ пользу *Той* кому написали Похвалы Эразмъ Роттердамскій и Левъ Шестовъ. И опять (я считаю *необходимымъ* указать на это) имена „умныхъ“ всѣ (безъ исключенія) „инородческія“: Мандельштамъ, Пастернакъ, Эренбургъ (конечно), Шкловскій (всетаки), Бабель, Лунцъ. Но умъ и глупость, конечно, категоріи второстепенныя — былъ бы талантъ. Такъ насъ, кажется, учили.

Что же касается до дарованія, мнѣ представляется возможной такая класификація молодыхъ: Подлинныя, сложившіеся мастера, не застывшіе въ подражаніи себѣ, но продолжающіе работать и развиваться: Мандельштамъ, Цвѣтаева, Пастернакъ; изъ младшихъ (по работѣ), вѣроятно — Бабель.

Подлинныя мастера, но застывшіе въ подражаніи себѣ, и къ тому же „передъ властію покорные рабы“, и спецы поэзіи: Маяковскій, Асѣевъ, можетъ быть Тихоновъ.

Начинающіе мастера еще мало давшіе, а будущее которыхъ зависитъ не столько отъ, несомнѣнно крупнаго, дарованія, сколько отъ характера и воли: Артемъ Веселый, Сельвинскій.

Мастеръ съ большими данными, но не нашедшій „содержанія“: Леоновъ.

Сложившійся, но по существу малый виртуозъ: Зощенко. „Поэтъ божьей милостью“: Есенинъ.

Талантливыя бытописатели, болѣе или менѣе погубленные успѣхомъ, некультурностью и пр.: Всеволодъ Ивановъ (самый талантливый и самый способный къ тому чтобы выбратся), Пильнякъ, и (гораздо ниже) Никитинъ, и еще другіе вродѣ Лидина.

Подлинно талантливый и умный, но лишенный всякаго „внутренняго содержанія“, журналистъ, къ тому же „рабъ передъ властію“, и, что хуже, передъ потребителемъ: Эренбургъ.

Почти „геніальный“, но совершенно распущенный журналистъ, культивирующій свою распущенность, но отецъ почти всѣхъ идей которыми живетъ современная ему эстетика: Шкловскій.

Хорошіе работники съ малымъ зерномъ генія, но тщательно (и какъ будто успѣшно) развивающіе его: Фединъ, и покойный Лунцъ.

Наконецъ „совѣтская Вербицкая“ (или пожалуй лучше — „совѣтская Чарская“): Сейфуллина.

Есть еще Казинъ, о которомъ какъ о Левонѣ и Боренькѣ, не знаешь что сказать: онъ написалъ нѣсколько совсѣмъ превосходныхъ стихотвореній, и что съ нимъ потомъ случилось я не знаю.

Я чувствую свою виновность передъ блюстителями эмигрантской неприкосновенности: изъ столькихъ именъ только одно совсѣмъ бѣлое. Чтобы загладить такое непріятное впечатлѣніе прибавлю, что зато въ сферѣ политической мысли подлинное творчество проявили, со времени Революціи, одни эмигранты — въ лицѣ Евразійцевъ.

II.

Подходить къ литературѣ съ политическими мѣрками, какъ подходятъ къ ней *Русское Время*, *Возрожденіе*, *Красная Новь*, *Звезда* и Зинаида Николаевна Гиппіусъ, конечно просто бессмысленно и даже вовсе не литературно бессмысленно, а прежде всего политически бессмысленно. Политическія (и религіозное) идеи и симпатіи писателя не имѣютъ никакого политическаго (или религіознаго) значенія. Такое значеніе имѣетъ только его *волевая заразительность*, часто не зависящая даже отъ художественнаго, а тѣмъ болѣе психологическаго сознанія самого писателя. Гоголь, вопреки своей воли, сталъ знаменемъ радикализма. Толстовца Лѣскова мы справедливо считаемъ азбукой православной этики. На Аввакумѣ воспитывали свой революціонный героизмъ русскіе эс-эры. Эта воспитательная, „гигіеническая“ роль литературы не можетъ не быть предметомъ самаго серьезнаго вниманія какъ политиковъ, такъ и словесниковъ (и особенно историковъ). Но нужно всегда помнить

что главное въ ней *волевая форма*, а не интеллектуальное содержаніе. Это отлично понимаютъ французскіе католическіе политики, предпочитающіе позитивиста Конта и протестанта Ренувье мистическому католицизму Клоделя и анархическому католицизму Леона Блуа. Это отчасти понимаетъ кое-кто изъ большевиковъ, предпочитая камеръ-юнкера Пушкина, попутчику Пильняку и старому коммунисту Маяковскому. Этого совершенно не понимаютъ шапроны нашей зарубежной невинности, готовые хвалить *даже Арцыбашева*, разъ только онъ выругалъ Ленина, и ничему не желающіе учиться у враговъ.

Одинъ изъ умнѣйшихъ людей нашей эмиграціи (и активный, до сихъ поръ, „контръ-революціонеръ“) говорилъ мнѣ: Если бы меня спросили: что лучше, Достоевскій или Комсомоль? я ни минуты не задумался бы отвѣтомъ: конечно, Комсомоль! Человѣкъ сказавшій это — глубоко православный, и его никакъ нельзя подозрѣвать въ сочувствіи публикѣ Безбожника, но онъ просто отдаетъ себѣ отчетъ въ важности *волевой формы* въ дѣлѣ воспитанія націй.

Съ этой точки зрѣнія я и хочу сказать еще нѣсколько словъ о новѣйшей нашей литературѣ.

Русская литература середины и второй половины девятнадцатаго вѣка жила паѳосомъ реформаторскимъ, вѣрой въ возможность усовершенствованія человѣческой жизни путемъ политическихъ и соціальныхъ реформъ. Къ концу вѣка паѳосъ этотъ, по крайней мѣрѣ въ высшихъ интеллектуальныхъ сферахъ умеръ, сохранившись въ томъ, что Вячеславъ Ивановъ называетъ „нижнимъ этажомъ Русской культуры“, — въ политическихъ партіяхъ, преимущественно соціалистическихъ. Въ „высшихъ сферахъ“ его замѣнило нѣкоторое общее отрицаніе жизни, которое могло принимать форму „непріятія быта“ при страстномъ (квази-) религіозномъ пріятіи жизни стихійной, или духовной (символисты-оптимисты отъ Бальмонта до Евреинова); или разочарованья въ общественности и отвращенія къ существующимъ формамъ при невѣріи или маловѣріи въ лучшія; или простого неразсуждающаго отвращенія къ уродствамъ жизни; или метафизическаго „непріятія міра“, и богоборчества. Но въ одномъ всѣ сходятся: въ чувствѣ глубо-

каго отвращенія отъ всякой *данной*, эмпирической жизни, или полного равнодушія ко всѣмъ „акциденціямъ“ жизни. Вся Русская литература отъ Чехова и Анненскаго до Блока и Бѣлаго и дальше до Ходасевича и (я прошу у Ходасевича прощенье за это, диктуемое хронологіей, сближеніе именъ) Эренбурга. *Моя Жизнь, Кипарисовый Ларецъ, Мелкій Бѣсъ, Дѣтство, Суходоль, Въ туманѣ, Движенія, Прудъ, Балаганчикъ, Петербургъ* — всѣ объединены ненавистью къ жизни, или страхомъ передъ ея бессмысленностью, и если у символистовъ-оптимистовъ воспѣвалась Жизнь она ничего общаго не имѣла съ той жизнью, которой мы всѣ живемъ. Исключенія очень рѣдки и единственныя два значительныя относятся къ самому началу и самому концу этого времени: ранніе рассказы Горькаго, и поэзія Гумилева. Первые несправедливо забыты (*Челкашъ, Мой Спутникъ, Двадцать шесть и одна!*), вторая до сихъ поръ недооцѣнена (*Огненный Столпъ*).

Гумилевъ уже принадлежитъ къ тому потоку, который унесъ символизмъ и андреевщину, и ихъ „отрицательную ауру“ и оживилъ Русскую литературу чистымъ воздухомъ формализма. Въ томъ же направленіи дѣйствовалъ (конечно, бессознательно) Андрей Бѣлый, своимъ формальнымъ фокусничествомъ, въ которомъ была чисто физическая веселость („*Елисей смѣшнѣй, слѣдственно полезнѣй*“: конечно Андрей Бѣлый сохранится въ нашей національной памяти какъ великій фокусникъ и великій „вздорный“ поэтъ, вообще великій забавникъ — а не какъ фило- или антропо-софъ). Оживляющее дѣйствіе формализма совпало съ упадкомъ творческихъ силъ русской почвы, и было тѣмъ драгоцѣннѣе.

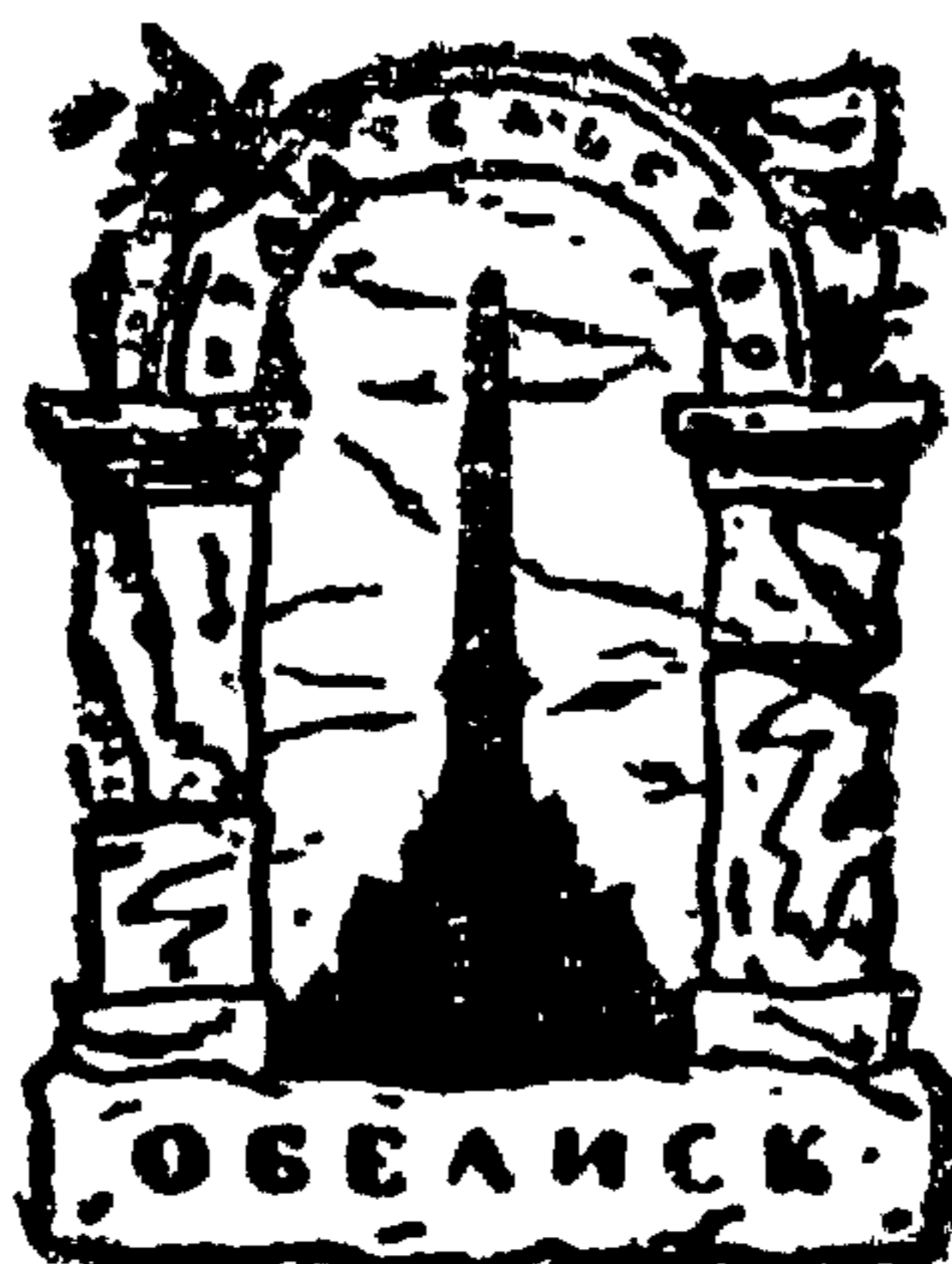
Что же младшіе? Конечно общая ихъ черта „пріятіе жизни“, всякой, какой угодно. Но пріятіе это у нихъ пассивное, — отдача себя стихіи, — полная атрофія воли (Пильнякъ); или наивно и глупо самодовольный эгоцентризмъ (Маяковскій). Уже лучше обстоитъ дѣло у Бабеля (который подбираетъ традицію молодого Горькаго, гдѣ тотъ ее бросилъ): при восхищенномъ и изумленномъ любованіи стихіей, онъ умѣетъ и „быть стихіей“ (по крайней мѣрѣ художественной своей волей), и сохранить по отношенію къ ней нѣкоторую ирониче-

скую независимость. Лучше обстоитъ дѣло и у Цвѣтаевой, которая усиливается (не всегда побѣдоносно) осѣдлать стихію такъ, чтобы та ее носила, какъ послушный сказочный конь. Но настоящаго активнаго пріятія жизни, настоящаго господскаго къ ней отношенія видно очень мало. И къ огорченію моему долженъ признаться, что пока я больше всего нашель его у наиболѣе коммунистическихъ писателей, у Федина и у Артема Веселаго. (Что-то такое мелькало и у такъ рано умершаго Веніамина этого поколѣнія, Льва Лунца). Это грустно конечно, намъ анти-коммунистамъ, но вѣдь общеизвѣстно что такъ, и въ гораздо большей степени, обстоитъ дѣло и внѣ области литературы. Надо учиться у своихъ враговъ.

Всетаки остается фактъ, что Русская литература находитъ больше радости жизни послѣ Революціи, нежели находила до Революціи. Четверть вѣка наша литература (одна-ли литература?) готовила насъ къ смерти. Послѣ летаргіи военныхъ лѣтъ и бреда семнадцатаго года мы вкусили смерти, — но не умерли. Что же, значитъ живая собака лучше мертваго льва? И такіе ли ужъ мы были львы? Или разъ, ударившись обо дно, всякій берегъ уже прекрасенъ?

И путникъ, брошенный ко дну,
Глокаетъ мутную волну,
Изнемогая смерти просить
И зрить ее передъ собой ...
Но мощный конь его стрѣлой
На берегъ пѣнистый выносить.

Кн. Д. Святополкъ - Мирскій.



РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРЯДОКЪ ИЛИ ПСИХИЧЕСКІЙ ХАОСЪ ?

Авторъ настоящей статьи, молодой выдающійся поэтъ современной французской Бельгiи, лауреатъ Верхарновской Премiи, талантливый переводчикъ Блока.

Начиная съ Бельгiи, гдѣ журналъ нашель себѣ убожище, Благонамѣренный будетъ печатать статьи писателей странъ, состоящихъ въ общенiи съ русской литературой.

Редакція.

Кому не случалось любоваться великолѣпнѣйшимъ порядкомъ романовъ и пьесъ имѣющихъ успѣхъ: когда падаетъ занавѣсъ или закрывается книга, всѣ свадьбы, которыя должны совершиться свершены, справедливость возстановлена и счастье возвращается — тому, кто его достоинъ. Читатель можетъ быть спокоенъ: вещи на своихъ мѣстахъ.

Мы очень хотимъ, чтобы вещи были на своихъ мѣстахъ. Это отвѣчаетъ какой-то нашей внутренней необходимости. Счастливые, когда порядокъ торжествуетъ или готовится торжествовать, безпокойные и смущенные, когда дѣло обстоитъ иначе, мы все время разрѣшаемъ проблему порядка.

Пусть не возражаютъ мнѣ, указывая на многочисленныя во всѣхъ литературахъ произведенiя, цѣль которыхъ — показать случаи безпорядка, и доказать несоотвѣтствiе реальности съ той внутренней необходимостью, о которой я говорю. Ибо пессимистическая настроенность — выраженная или нѣтъ — этихъ произведенiй, именно, и доказываетъ, что они могли быть мыслимы только въ планѣ идеи порядка. Какой смыслъ имѣлъ бы для насъ рассказъ, гдѣ доказывается, что все не на своемъ

мѣстѣ, если бы мы не придавали проблемѣ порядка высокаго значенія *).

Политика, мораль, религія и философія — лишь попытки воплотить этотъ порядокъ въ дѣйствіе или въ мысль. И, несомнѣнно, эта потребность такъ утверждена въ насъ, потому что для входа въ границы нашего духа, необходимо воспріятіе міра сжатое и приспособленное къ формамъ нашего разума.

Въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что вещи смогутъ или не смогутъ быть пропущены сквозь эту призму, мы будемъ радоваться или беспокоиться о порядкѣ или беспорядкѣ. Если мы очень раціональны, мы оставимъ безъ вниманія, и даже сочтемъ за несуществующее, все сквозь эту призму не проходящее.

Что болѣе всего смущаетъ нашъ разумъ, это нѣкая движущаяся сила, не поддающаяся ему, устроенному для работы надъ очевиднымъ и устойчивымъ матерьяломъ. Какъ ни сложна реальность, на которую онъ устремляется, усилія его, при послѣднемъ анализѣ, сводятся къ попыткѣ разложенія явленій на ихъ отдѣльные фазы до того момента, когда передъ нимъ ни встанетъ недвижный отрѣзокъ реальности, гдѣ онъ имѣетъ право остановить свою способность сужденія.

Рядомъ съ этой раціональной потребностью, существуетъ въ насъ и психическая потребность порядка и ясности. Мы должны имѣть увѣренность, должны избѣжать безпокойства. Если фельетонистъ не оставляетъ своихъ героевъ раньше чѣмъ устроить ихъ судьбу прочно, — это не только для того, чтобы наша мысль избѣжала волненій, но и затѣмъ, чтобы наши благожелательства не были въ тревогѣ, чтобы мы не печалились, видя кого нибудь брошеннымъ въ міръ случайностей.

Ребенокъ, передъ тѣмъ, какъ итти спать, размѣщаетъ пастушку и нюренбергскихъ барашковъ въ ихъ дворикъ, — оловянныхъ солдатиковъ въ ихъ коробкѣ. Такъ же человѣчество заключаетъ свои самыя бурныя эпохи въ монументы и хроники, гдѣ царитъ миръ вещей завершенныхъ и непоправимыхъ.

*) Натуралистическія произведенія, такъ называемыя „объективныя“, не ускользаютъ отъ этого закона. Произведеніе немислимое, „кусокъ жизни“ содержитъ въ себѣ часто подразумеваемую отрицательную оцѣнку жизни.

Въ нашемъ личномъ прошломъ, воспоминаніе даетъ такое же умиротвореніе. Все сказано: возврата сюда уже не будетъ. Плохой или хорошій выводъ послѣдовалъ, и мы избавлены отъ безпокойства.

Искусство — тоже способъ давать вещамъ ихъ законченность.

Самыя пессимитическія произведенія, наиболѣе подчиненныя притяженію хаоса, получаютъ отъ самоограниченія формой какое то успокаивающее равновѣсіе, которое и есть, собственно, магія искусства.

Теперь представимъ себѣ законченное произведеніе, завершенный періодъ, формулу окончательно найденную. Все ли сказано тамъ, все ли приведено въ порядокъ для нашего успокоенія? Увы — ничто не приведено въ порядокъ, ибо мы не можемъ остановить жизнь.

Къ романамъ, самымъ завершеннымъ, самымъ „окончательнымъ“ можно дописать какое угодно катастрофическое продолженіе. И тогда становится яснымъ, что романы эти казались столь законченными только потому, что были кончены. Свадьба — простой конецъ; это конецъ, если хотите, но это главнымъ образомъ начало. Это — новая задача поставленная разрѣшеніемъ старой. Пока человѣкъ живетъ, нѣтъ окончательныхъ разрѣшеній человѣческимъ задачамъ.

Если въ плоти человѣка — искать порядокъ и устойчивость, то въ его крови — мѣняться все время и итти безостановочно. Психическая динамика непрерывно выталкиваетъ передъ разумомъ новые загадки. Онѣ бѣгутъ, эти загадки, торопятся, и проходятъ въ большинствѣ незамѣченными, незанесенными въ регистръ. Толпа ихъ такъ велика, что контроль надъ нею невозможенъ.

Всякій фактъ человѣческой совершающійся — точка отправленія послѣдствій непредвидѣнныхъ. Для духа, взыскающаго порядка, опасность проходитъ лишь вмѣстѣ съ жизнью. Деспотизмъ и догматизмъ, эти двѣ героическія попытки наложить на міры, тѣлесный и духовный, послѣднюю устойчивость, все

время должны находиться на стражѣ, и чувствовать себя, въ силу самой своей сути, окруженными врагами.

Людовикъ XIV думаетъ, что заключилъ Францію навсегда въ рамки абсолютной монархіи и классическихъ формъ. Онъ считаетъ, что заковалъ воздухъ между вѣчными колоннадами Версаля. Но развѣ останавливаютъ облака проскальзывающіе, или птицъ? Собираютъ ли человѣческій духъ въ рамку, ставятъ ли границы воображенію, чувствамъ? Даже до смерти Людовика XIV, его божественный порядокъ былъ подкопанъ со всѣхъ сторонъ, и двумя-тремя мыслями Фонтенеля или Бэля, и двумя-тремя портретами Лабрюйера, и первымъ романомъ аббата Прево, гдѣ чувство не подчинялось разуму. Классицизмъ, окончательная установка человѣческой жизни въ определенную форму, осужденъ на вѣчное пораженіе.

Когда хозяйство окончено, комната остается въ порядкѣ, но это лишь если никто тамъ не начинаетъ жить. Въ XVIII вѣкѣ, при концѣ классическаго хозяйства, когда уже выметенной оказалась послѣдняя пылинка, умъ и сердце человѣка продолжали работать, потому что они и созданы для этого. Фактъ ихъ существованія разрушилъ весь этотъ прекрасный порядокъ.

Въ человѣкѣ существуетъ вѣчное несоотвѣтствіе между потребностью рациональнаго порядка, дѣйствующаго черезъ отборъ, упрощеніе и, главнымъ образомъ, черезъ провозглашеніе устойчивости, съ одной стороны, и психическимъ устремленіемъ, основнымъ дѣйствіемъ, динамикой живого существа — съ другой. Всякое произведеніе искусства, съ его двойнымъ лицомъ, содержанія и формы, есть именно попытка разрѣшить это несоотвѣтствіе. Синтезъ всякаго произведенія искусства будетъ окрашенъ въ тотъ или иной цвѣтъ, въ зависимости отъ эпохи чувства жизни или эпохи рациональнаго порядка.

Исторія литературы покоится на этихъ двухъ ритмахъ, которые вѣчно колеблютъ ее отъ классицизма къ романтизму; временная побѣда одного влечетъ предопредѣленно реакцію — къ другому.

Но это противостояніе не только послѣдовательно и определяемо во времени. Существуютъ, въ одно и тоже время, народы, влекущіеся въ построеніи своего искусства, къ укрѣп-

ленію порядковаго элемента, и народы, являющіе свой характеръ въ неорганизованномъ разливѣ психики. Мнѣ кажется, что именно эта разница стоитъ въ основѣ сравненій русской литературы съ литературой западной, главнымъ образомъ французской.

Если бы кто захотѣлъ, сильно упрощая, охарактеризовать главныя направленія обѣихъ литературъ, то на антитезѣ: — раціональный порядокъ и психическій хаосъ, слѣдовало бы остановиться. Художникъ Запада, глазами словно записывающими, внимательными и точными, не теряющими связи съ интеллектомъ, кладетъ каждое наблюденіе въ спеціальныя ящичекъ и отбрасываетъ тѣ, которыя не подходятъ по своимъ мѣркамъ. Отсюда, литература отчетливыхъ контуровъ, живая и граціозная въ движеніи, но въ глубинѣ неподвижная на своихъ закрѣпленныхъ основаніяхъ. Художникъ славянинъ, чаще всего, караульщикъ души, для котораго все, что исходитъ изъ „я“ явленія динамизма жизни, желанія, впечатлѣнія наиболѣе жестока и наиболѣе тонка — имѣютъ большую реальность, чѣмъ позитивный фактъ.

Для перваго, правда — во внѣшнемъ. Онъ интересуется обществомъ, человѣкъ его интересуется главнымъ образомъ по своему отношенію къ этому обществу, которое есть порядокъ явившійся самъ собою, съ теченіемъ исторіи. Онъ обосновываетъ свою работу на объективной и точной формулѣ міра, какой бы она ни была: философской, политической, утилитарной или религіозной. Всякій европейскій мистикъ немного позитивенъ — пусть хотя бы только ясностью и точностью своего ученія. Напротивъ, каждый русскій матерьялистъ, несомнѣнно, мистикъ, часто отдающійся матеріи лишь движеніями своей души. Непосредственнаго, остраго воспріятія тысячи психологическихъ оттѣнковъ жизненнаго факта, онъ ищетъ и хочетъ болѣе, чѣмъ яснаго соотношенія привязывающаго жизненный фактъ къ порядку вещей прекрасно обоснованному. Для него общество будетъ скорѣе собраніемъ индивидуумовъ, чѣмъ коллективъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, коллективный организмъ.

Внѣ сомнѣній, я упрощаю. Человѣческія вещи всегда сложны. Я поступаю, какъ человѣкъ Запада, я „привожу въ порядокъ“.

Но отъ этого не менѣе вѣрно утверждение своеобразнаго антагонизма, какъ базы умственныхъ и духовныхъ отношеній между двумя народами, двумя литературами; и болѣе всѣхъ объясненій: объясненій различіемъ климата, образа жизни, несовпадениемъ историческихъ судебъ, можно объяснить этимъ антагонизмомъ, разомъ, и обоюдное непониманіе, раздѣляющее русскихъ и французовъ, и несомнѣнное влеченіе, которое ихъ, въ то же время соединяетъ, и глубокое, тоже обоюдное, вліяніе обѣихъ литературъ, продолжающееся, долженствующее продолжаться.

Для каждаго изъ этихъ двухъ народовъ, другой представляетъ соблазняющую остроту того, что — отличается. Этотъ экзотизмъ привлекающій и отталкивающій, который нравится намъ, какъ никогда не будетъ нравиться ничто насъ самихъ напоминающее. Основное противопоставленіе и вѣчное дополненіе, любовь и ненависть двухъ полюсовъ одного міра.

Противопоставленіе — я уже сказалъ — далеко выступаетъ за предѣлы русскаго и французскаго. Обѣ литературы здѣсь лишь современные воплотители тѣхъ двухъ сторонъ, въ которыхъ, какъ будто, наиболее остро выявилось вѣчное бореніе. Славизмъ наслѣдуетъ здѣсь германизму, который, въ эпохы предыдущихъ, былъ олицетвореніемъ живущаго хаоса. Онъ наслѣдуетъ и замѣняетъ германскую психику, немного иногда расплывчатую и чуть окрашенную условностью — анализомъ болѣе точнымъ, болѣе тонкимъ, подходящимъ къ характеру эпохи.

Для Россіи борьба началась съ момента, когда русская литература захотѣла быть образованной. Греко-латино-французскій классицизмъ давалъ свою форму — законченную, испытанную, готовую на всѣ примѣненія. Русскіе поэты должны были поучаться. Чтобы умѣть пользоваться инструментами Запада, они должны были на время забыть психическое богатство своей страны... И даже романтизмъ они получили съ Запада.

У Пушкина, у Лермонтова русская психика лежитъ подъ формой не самобытной. Когда Тургеневъ пишетъ природу и

своего чловѣка, онъ беретъ за образецъ реалистическую школу Запада. Но уже съ Гоголемъ „русскій элементъ“ проникаетъ въ литературныя достиженія, торжествуя въ Достоевскомъ. Не смотря на то, что послѣдній еще пользуется техникой Диккенса и Бальзака, — онъ кладетъ въ нее совершенно новое содержаніе. И здѣсь уже очередь Европы удивляться, принимать восторженно, и, въ какой то мѣрѣ, подражать.

Съ этого момента, на Западѣ становится замѣтнымъ русское вліяніе. Но возникающій періодъ менѣе четокъ и менѣе простъ, чѣмъ отходящій. Слѣдовать за тѣмъ, кто погружается въ движущуюся тайну жизни труднѣе, чѣмъ чувствовать преимущество ясно выраженной формы и подчиняться ей. Западный урокъ былъ легокъ и простъ, разъ онъ былъ урокомъ порядка. Русскій урокъ невыразимо сложнѣе и темнѣе. Онъ требуетъ не только раціональнаго пріятія: ему нужно психологическое влеченіе, предвосхищеніе гармоніи.

Со времени Достоевскаго, десятка два русскихъ писателей двигали работу овладѣванія душой. Большинство изъ нихъ не забыло французскихъ уроковъ и показывало свои достиженія сквозь ясность формъ. Но кто же съ нашей стороны воспользовался русскимъ урокомъ? Шарль - Луи Филиппъ, быть можетъ... Литературная форма слишкомъ закончена во Франціи, послѣ тысячелѣтней работы, чтобы поддаться вліянію приходящему колебать ея равновѣсіе. Можетъ быть русское дуновеніе сумѣетъ пройти въ западные интеллекты путями окольными, черезъ музыку, балетъ, орнаментъ костюмъ — гдѣ оно не встрѣтитъ преграду слишкомъ окончательныхъ и слишкомъ совершенныхъ формулъ. Такимъ путемъ оно, вѣроятно, сможетъ твердо обосноваться въ еще свободныхъ областяхъ нашей психологіи.

Ни война, ни русская революція, не уничтожили проблему, не разрѣшили ее. Онѣ, даже, какъ будто сдѣлали разрѣшеніе еще болѣе сомнительнымъ.

Съ французской стороны, послѣвоенный интеллектуальный періодъ сначала обозначился пробужденіемъ подозрительности. Латинскій духъ замкнулся въ себя, чтобы перестро-

ить свои силы и снова найти въ нихъ первоначальное оружіе: гений упорядочиванія. Пойдетъ ли онъ къ новому классицизму, на что, кажется, указываютъ нѣкоторыя явленія въ живописи и литературѣ, Кубизмъ и Поль Валери? Или, напротивъ, чувствуя признаки смерти въ этомъ усиленіи сухости, сдѣлаетъ то, что онъ сдѣлалъ послѣ революціи 89 и первой имперіи: откроется иностраннымъ вѣтрамъ, неуправляемымъ источникамъ психической жизни? Есть указанія и на это: литературное вѣяніе Фрейдизма во Франціи и поэтическое движеніе сверхреалистовъ, знаменующее, кажется, возобновленный интересъ къ жизни внутренняго человѣка, въ его самой острой непосредственности.

Со стороны русской, такая же трудность предвидѣнія, передъ крайностями каждаго изъ двухъ устремленій. Одни погружены въ чисто формальные вопросы, клонятся къ своеобразному, излишне сжатому, классицизму; другіе главнымъ образомъ вовлеченные въ орбиту революціи, кажутся погруженными въ самый беспорядочный психическій хаосъ.

Какъ будто, столкновенія и боренія дѣлятся и утончаются, и что въ періодъ, который передъ нами раскрывается, борьба волеустремленій человѣческой природы будетъ вестись не только между двумя литературами, но и внутри каждой изъ нихъ.

Робертъ Вивье.



ТЕАТРЪ БЕЗЪ РЕПЕРТУАРА

Просматриваю драматическій репертуаръ петербургскихъ театровъ и прихожу въ унылое настроеніе. Изъ 26 пьесъ, поставленныхъ въ теченіи одной случайно взятой недѣли конца прошлаго сезона, только 6 русскихъ, т. е. меньше $\frac{1}{4}$, а 20 приходится на пьесы иностранныя.

Гастроли Первой Студіи М. Х. Т.. Вотъ репертуаръ: „Король Лиръ“, „Гибель Надежды“, „Укрощеніе строптивой“, „Сверчокъ на печи“, „Двѣнадцатая ночь“, „Потопъ“, и только одна русская — „Расточитель“.

Гастроли Московскаго Камернаго театра. Репертуаръ: „Федра“, „Адриенна Лекувреръ“, „Жирофле - Жирофля“, „Человѣкъ, который былъ Четвергомъ“, и снова одна всего русская пьеса: „Гроза“.

У Мейерхольда нѣсколько лучше: „Лѣсъ“, „Смерть Тарелкина“, „Даешь Европу“, „Мандатъ“, и только двѣ иностранныя вещи: „Земля дыбомъ“ и „Великодушный рогоносецъ“.

Если мы обратимся къ собственно петербургскимъ театрамъ, картина получится одинаковая. Напримѣръ, въ Передвижномъ театрѣ, за указанную недѣлю были поставлены: „Карнавалъ Жизни“, „Съ любовью не шутятъ“, „Привидѣнія“, и только одинъ „Нахлѣбникъ“ — русскій. Даже академическій театръ драмы (б. Александринскій), который, казалось бы, долженъ быть въ первую очередь хранителемъ и разсадникомъ отечественнаго творчества, и тамъ на шесть спектаклей мы обнаружимъ только половину русскихъ авторовъ, а три пьесы принадлежатъ авторамъ иностраннымъ: „Скандалисты“, „Въ царствѣ скуки“, „Идеальный мужъ“.

Это явленіе не случайное, но ставшее уже настолько привычнымъ, что его почти не замѣчаютъ и, тѣмъ болѣе, не придають ему никакого значенія. Вотъ, на примѣръ, выписка названій французскихъ пьесъ, игранныхъ въ прошломъ сезонѣ, на протяженіи двухъ-трехъ мѣсяцевъ въ московскихъ театрахъ: а сколько еще играно нѣмецкихъ, англійскихъ и другихъ!

Расинъ — „Федра“; *Мольеръ* — „Продѣлки Скапена“, „Мѣщанинъ во дворянствѣ“, „Ученыя женщины“, „Г-нъ де-Пурсоньякъ“, „Донъ-Жуанъ“, „Врачъ по неволѣ“, „Смѣшныя прелестницы“, „Тартюфъ“; *Бомарше* — „Свадьба Фигаро“, „Севильскій цирюльникъ“; *Мериме* — „Жакерія“; *Гюго* — „Рюи-Блазъ“, „Человѣкъ, который смѣется“, „Соборъ Парижской Богоматери“; *Скрибъ* — „Медвѣдь и Паша“, „Адриенна Лекувреръ“, „Стаканъ воды“, „Дорога къ славѣ“; *Сю* — „Парижскіе нищіе“; *Сарду* — „Тоска“, *М-мъ Санъ-Женъ* — „Мирбо“ — „Рабъ наживы“, „Очагъ“; *Лабришъ* — „Копилка“, „Путешествіе Перришона“; *Дюма-сынъ* — „Дама съ камеліями“; *Метерлинкъ* — „Чудо святого Антонія“, „Синяя Птица“; *Верхарнъ* — „Филиппъ II“; *Кроммлинкъ* — „Ваятель масокъ“; *д'Эннери* — „Двѣ сиротки“; *Роменъ Ролланъ* — „Волки“; *Круассе* — „Когда заговоритъ сердце“; *Жербидонъ* — „Золотое дно“; *Гаво* — „Маленькая шоколадница“; *Жюль Роменъ* — „Армія въ городѣ“; *Флеръ и Кайяве* — „Золотая осень“; *Фарреръ* — „Человѣкъ, который убилъ“; *Вильдракъ* — „Пакботъ Упорство“; *Клодель* — „Благовѣщеніе“; *Тристанъ-Бернаръ* — „Близнецы“; *Ривуаръ* — „Король Дагоберъ“; *Эннкенъ* — „Мой беби“; *Франъ-Ногенъ* — „Часовщикъ изъ Толедо“.

Право, теперешній репертуаръ съ этой точки зрѣнія мало чѣмъ отличается отъ того, какимъ онъ былъ въ XVIII вѣкѣ, когда на протяженіи одного какого нибудь года шли: *Мольеръ* — „Скапиновы обманы“, „Скупой“, „Школа мужей“, „Тартюфъ“, „Мнимый больной“; *Расинъ* — „Андромаха“; *Сенъ-Фуа* — „Оракуль“; *Детушъ* — „Тщеславный“, „Раздумчивый“, „Нелюдимъ“; *д'Аденваля* — „Нарцисъ или влюбленный въ себя“, и т. д. Но тогда мы вообще не имѣли своего репертуара и должны были питаться иноземнымъ творчествомъ, а за полтора ста лѣтъ положеніе, казалось бы, должно было

измѣниться. Какое! Все остается — въ этомъ отношеніи — по старому, если не стало еще хуже, за самые послѣдніе годы, изъ-за почти полнаго отсутствія новыхъ русскихъ пьесъ.

Что и до революціи дѣло было приблизительно такимъ же, какъ сейчасъ, покажетъ маленькая справка: за четверть вѣка существованія Московскаго Художественнаго театра, имъ сыграно почти поровну пьесъ русскихъ и иностранныхъ (въ краткомъ официальномъ историческомъ очеркѣ театра первыхъ перечислено 32, вторыхъ — 25).

При такой статистикѣ невольно зависть беретъ къ французскому сценическому искусству. Подумать только! Изъ году въ годъ, всѣ парижскіе театры играютъ почти исключительно французскія пьесы, свыше сотни ежегодно появляется новинокъ, и не только ихъ хватаетъ на всѣ сцены, но еще авторы жалуются, что имъ недостаетъ театровъ. Правда, далеко не все изъ представляемого заслуживаетъ какого либо вниманія, большая часть всего этого изобилія — макулатура и не количествомъ въ концѣ концовъ измѣряется уровень искусства. Но все же, развѣ не отсюда черпаютъ частично свой репертуаръ русскіе театры вплоть до самыхъ передовыхъ? Развѣ не появляется каждый годъ хотя бы нѣсколькихъ пьесъ замѣчательныхъ? И, наконецъ, развѣ среди представляемыхъ русскихъ оригинальныхъ пьесъ не велико число никуда не годныхъ?

Старая бѣда русскаго театра — отсутствіе, недостаточность оригинальнаго репертуара — не только не изжита, но значительно усугублена за время революціи.

Я вспоминаю, съ какимъ завистливымъ огорченіемъ смотрѣлъ я на желтыя афиши Французской Комедіи, возвращавшія, во время недавняго празднованія 300-лѣтняго юбилея Мольера, представленіе полнаго цикла его пьесъ.

Что можемъ мы, русскій театръ, противопоставить этому изумительному богатству? Пусть, триста лѣтъ назадъ у насъ и театра-то не было, и только недавно отпраздновано 250 лѣтіе со дня перваго спектакля въ Россіи: но не горько ли думать, что и черезъ триста лѣтъ отъ сегодняшняго дня намъ не придется праздновать ни одного юбилея такъ, какъ французы могли справить мольеровскій? Ужъ не полнаго ли

Островскаго рѣшится возобновить досужій театраль, Островскаго, который еще до войны былъ уже мертвъ на половину? И не обидно ли, что и сейчасъ намъ мало въ чемъ приходится измѣнить памятные слова Бѣлинскаго о скудости русской комедіи сравнительно съ остальными видами литературы, и лишь нѣсколькими новыми названіями дополнить его жалкій списокъ образцовыхъ пьесъ: „Бригадиръ“, „Недоросль“, „Горе отъ Ума“, „Ревизоръ“, „Женитьба“, и 3 сцены Гоголя. Достигнетъ ли этотъ новый, дополненный списокъ той цифры 26, которою измѣряется одинъ мольеровскій репертуаръ?

Да, какъ ни горько, а приходится сознаться, что нашъ оригинальный репертуаръ далеко недостаточенъ, и даже славный XIX вѣкъ, завоевавшій Россіи мѣсто въ жизни интеллектуальной Европы и вознесшій нашу литературу чуть не выше всѣхъ прочихъ, — и онъ не могъ радикально излѣчить русскій театръ отъ этой застарѣлой болѣзни. Величайшіе наши гении или проходили мимо театра, или дарили ему случайное вниманіе, или не принимались имъ, а вклады тѣхъ, кто имъ подлинно интересовался и его высоко цѣнилъ, — крайне бѣденъ, и цѣликомъ посвящали себя ему лишь свѣтила второй величины. Увы! — нашъ русскій Мольеръ - Островскій не принадлежитъ къ разряду творцовъ міровыхъ. У нѣкоторыхъ другихъ народовъ было не такъ, и высшіе свои литературныя достиженія они имѣли именно въ драматической формѣ: Греція (Эсхиль, Софокль, Еврипидъ), Франція (Корнель, Расинъ, Мольеръ), Испанія (Лопе де Вега, Кальдеронъ), Англія (Шекспиръ), Германія (Гете, Шиллеръ).

Правда, мы отличаемся излишней строгостью къ своимъ роднымъ творцамъ, проявляя прежнее подобострастіе къ чужеземнымъ; правда, мы перемѣнчивы, не дорожимъ накопленными національными сокровищами, съ легкостью мѣняемъ чуть не ежегодно своихъ кумировъ. Въ то время, какъ Грановская за милую душу играетъ по прежнему Батайля и де-Флера, а Александринскій театръ — Идеальнаго мужа и, съ благословенія Луначарскаго, такую ерendu, какъ „Въ царствѣ скуки“, Московскій Художественный театръ выбрасываетъ (вынужденно?) изъ своего репертуара, за устарѣлостью, Чехова.

Это, какъ и всякій отрывъ отъ прошлаго, охотно объясняютъ и оправдываютъ революціей. Но почему же это объясненіе не распространяется на пьесы иностранныя? Продолжаетъ же идти въ Первой Студіи „Сверчокъ на печи“. Пусть Чеховъ не „созвученъ“ нашей эпохѣ, созвученъ ли ей Оскаръ Уайльдъ? И если нѣмецкіе экспрессионисты въ почетъ въ Россіи, почему въ полномъ забвеніи находится такой родственнѣйшій имъ — Леонидъ Андреевъ?

Но оторвемся отъ сегодняшнаго дня: развѣ не то же, въ нѣсколько болѣе скромныхъ размѣрахъ и безъ идеологической фразеологіи, увидимъ мы раньше? Развѣ Пушкинъ и Лермонтовъ, не говоря о второклассныхъ драматургахъ или водевилистахъ начала XIX вѣка, дѣйствительно входили въ репертуаръ б. Императорскихъ театровъ?

Съ начала XX вѣка, къ этому прибавляется новое явленіе: разрывъ между театромъ и современной ему литературой, который можно наблюдать не только на традиціонныхъ сценахъ, но и на самыхъ передовыхъ, и который болѣе всего бьетъ именно русскихъ драматурговъ. Много ли пьесъ Александра Блока, Алексѣя Ремизова, Федора Сологуба и др. увидѣли „свѣтъ ramпы“? Да и увидѣвшіе — не были ли лишь случайными гостями на сценѣ? И даже революція не исправила этого грѣха и не освѣтила ихъ шедевры яркими лучами прожекторовъ.

Безъ сомнѣнія, русскій репертуаръ все же богаче того, какимъ его представляютъ наши театры. Но все же безспорно, что онъ недостаточенъ для удовлетворенія требованій ихъ. Не поражая современной продуктивностью французовъ, онъ не достигаетъ вершинъ западно-европейскаго репертуара (исключеніе я сдѣлаю только для „Бориса Годунова“ Пушкина и „Горя отъ Ума“, великихъ среди величайшихъ, еще не нашедшихъ даже своего полного у насъ воплощенія. Вообще, намъ предстоитъ пересмотрѣть весь нашъ старый репертуаръ. Оцѣнивавшійся вчера съ точки зрѣнія школы реалистической, онъ казался какъ бы подготовкой къ ея торжеству: не пора ли теперь, когда она отжила, произвести новую театральную — эстетическую переоцѣнку всего нашего театральнаго наслѣдія,

понимая реализмъ не въ школьномъ смыслѣ, а въ томъ широкомъ, какой придавали ему Пушкинъ и Грибоѣдовъ?).

Здѣсь не мѣсто изслѣдовать сложныя причины этого печальнаго явленія: тутъ дѣйствовали и общія условія русской жизни, и особенности нашего характера, и расцвѣтъ нашей литературы подъ знакомъ реализма, вообще мало благопріятнаго театру, — для перечисленія, обслѣдованія и установленія ихъ нужна самостоятельная работа.

Здѣсь мы не будемъ также вновь подымать старый споръ о томъ, нуженъ ли авторъ вообще и онъ ли первое лицо въ театрѣ, или актеръ и режиссеръ: достаточно признать, что всѣ они являются частями его, отсутствіе которыхъ рушитъ самое искусство сцены. Не бѣдность ли нашей драматургіи такъ легко превратило Фуксовы нападки на тенденціозныя и слишкомъ „литературныя“ пьесы, въ походъ противъ всякаго автора, въ изгнаніе его изъ театра? Кличъ г. Таирова въ его книгѣ „Записки режиссера“ не есть ли просто послѣдняя точка на этомъ пути, за которой должно послѣдовать возрожденіе автора, какъ оно уже наступило для актера, тоже въ свое время упраздненнаго и замѣненнаго маріонеткой? И не звучатъ ли первыя ноты этого призыва въ тѣхъ голосахъ, которые раздаются въ Россіи о необходимости новой драматургіи, новаго репертуара?

Вопросъ долженъ быть суженъ: разъ безъ авторовъ театры все таки не обходятся, то нормально ли и желательно ли отсутствіе русскихъ драматурговъ и подавленіе ихъ иностранными?

Не время, конечно, проповѣдывать узкій націонализмъ сейчасъ, когда весь міръ идетъ по пути международнаго сближенія, и примѣръ французскаго театра, гдѣ иностранныя шедевры почти не имѣютъ шансовъ найти для себя сцену, намъ не указъ. Но, когда дѣло идетъ о гибели цѣлой отрасли отечественнаго творчества, не пора ли подумать о его спасеніи? И можно ли называть русскимъ тотъ театръ, большая часть пьесъ котораго — иностранныя?

Правда, можно возразить, что русскій театръ пользуется послѣдними для собственнаго творчества, чтобы передѣлывать ихъ, какъ фабрика обдѣлываетъ привозное сырье. Но какая же

страна откажется отъ того, чтобы имѣть это сырье у себя, и не приметъ мѣръ къ тому, чтобы не дать ему исчезнуть, а напротивъ — чтобы его увеличить и развить?

Такіе мѣры должны были бы быть приняты по отношенію къ русской драматургіи. Французское общество драматическихъ писателей поступило бы въ подобныхъ обстоятельствахъ просто: оно обязало бы театры ограничить количество представляемыхъ иностранныхъ пьесъ, отказавъ въ правѣ постановки пьесъ своихъ членовъ тѣмъ изъ театровъ, которые не пришли бы съ ними къ какому либо соглашенію.

Я не сторонникъ такихъ внѣшнихъ мѣръ принужденія и, во всякомъ случаѣ, не на путяхъ борьбы съ иностраннымъ творчествомъ, но на путяхъ поощренія отечественнаго предпочелъ бы я ихъ видѣть. Но для меня несомнѣнно, что всѣ русскіе театральные дѣятели должны проникнуться сознаниемъ необходимости возрожденія русской драматургіи и всячески способствовать созданію и постановкѣ русскихъ пьесъ.

Результаты скажутся не скоро, и пусть нѣкоторое время будутъ итти посредственныя произведенія, но наши: мы должны съ этимъ примириться, ибо если теперь они будутъ отвергаться и имъ предпочитаться иностранныя, — и черезъ пятьдесятъ лѣтъ мы не увидимъ хорошихъ русскихъ пьесъ.

Евг. А. Зноско-Боровскій.



НЕ АФОРИЗМЫ

I

Критицизмъ (тема софистики, Декарта, Канта) — конечно не хлѣбъ насущный; скорѣе ядъ. Питаться имъ здоровому духу нельзя, но лечится больному — неизбежно. Почти всѣ лекарства — яды. Сомнѣнія въ томъ, что мы больны — врядъ ли возможны. Потому отрицаніе критицизма пока все еще или легкомысліе или лицемѣріе.

II

Кантъ никогда не думалъ, какъ то иногда утверждаютъ наши русскіе мыслители, отказываться отъ постиженія Абсолютнаго. Онъ лишь такъ переложилъ горизонтъ философіи, что Абсолютное осталось за ея горизонтомъ. Для дерзкаго ума въ этомъ подвигѣ самоограниченія должны конечно звучать ноты скепсиса и отчаянія, но для вѣрующаго разума отнюдь нѣтъ. Развѣ ночь менѣе абсолютна, чѣмъ день? Развѣ значеніе солнца для міра и жизни днемъ понятнѣе, чѣмъ ночью? Развѣ тождество не верховная категорія познанія и развѣ ночь не глубочайшій символъ тождества?

Кантъ одинъ изъ самыхъ строгихъ подвижниковъ, когда либо спасавшихся въ бесплодныхъ пустыняхъ разума.

III

„Въ началѣ бѣ Слово“. Какъ извѣстно Гете въ „Фаустѣ“ не согласился съ Евангелиемъ. „Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, und schreibegetrost: im Anfang war die Tat!“.

Интересно и весьма показательно, что Кантъ, во всемъ прямой антиподъ Гете, опредѣленно исходилъ въ своемъ философствованіи изъ гетевскаго положенія о приматѣ творчества. Въ отличіе отъ античнаго и средневѣковаго любомудрія, философія Канта не онтологія, но методологія, не откровеніе а совѣсть, не система живыхъ истинъ, а систематизація критеріевъ истинностей, не философія самого Бытія, но лишь философія формъ его постиженія; философія культуры ... и только.

IV

Парадоксальность и трагическое величіе этого „и только“ заключается въ томъ, что философія, „мать и царица“ всѣхъ наукъ, мыслится у Канта, быть можетъ, единственной сферой духовнаго творчества не вѣдующей *непосредственнаго* отношенія къ Абсолютному. Съ Абсолютомъ непосредственно встрѣчаются наука, искусство и жизнь; философія же встрѣчается не съ Нимъ, но лишь съ формами Его постиженія всѣми этими областями. Философія по Канту есть, такимъ образомъ, не самый актъ встрѣчи съ Абсолютомъ, но лишь философія актовъ встрѣчи Абсолютнаго и относительнаго въ образахъ внѣ философскаго культурнаго творчества.

Къ узрѣнію Божьяго Лица философъ по Канту въ сущности не стремится; его взоръ опущенъ, прикованъ къ мертвымъ слѣдамъ уже прошедшаго мимо, уже скрывшагося Бога. Философъ по Канту всего только слѣдопытъ. Не потому ли и самъ Кантъ иногда ощущается послѣдышемъ, концомъ, смертью?

V

Одинъ изъ самыхъ существенныхъ мотивовъ реформаціи — отрицаніе формы, углубленіе сущности христіанства („*Verinnerlichung des Glaubens*“). Кантъ, типичный философъ протестантизма; не странно-ли съ этой точки зрѣнія, что какъ разъ онъ опредѣлилъ сущность міра какъ *трансцендентальную форму*. Не странно-ли что отрицаніе исторической формы

вѣры обернулось провозглашеніемъ рационалистическаго формализма.

Въ глубокомысленнѣйшей эстетикѣ Канта встрѣчаются мѣста, которыя безъ всякой натяжки могли бы быть приписаны такому типичному эстету, какъ Оскаръ Уайльдъ. Кантъ считалъ, какъ извѣстно, красивыми (*schön*) въ строгомъ смыслѣ этого слова лишь цвѣты, арабески и иныя бездушности. Уайльдъ утверждалъ, что всякій человѣкъ становится уродливымъ, какъ только онъ начинаетъ думать.

Какъ будто близко по духу! И все же: — какимъ уродомъ долженъ былъ Кантъ казаться Уайльду? Какимъ уродствомъ Уайльдъ Канту?

Я понимаю всю рискованность моей параллели. Но вѣдь рискованность совсѣмъ не фиктивность.

VI

Канта считаютъ основателемъ научной философіи. Вѣрность этого положенія крайне сомнительна. Вся большая философія, выросшая на основѣ критицизма: Фихте, Шеллингъ, Гегель, Шопенгауэръ — совсѣмъ не наука, а вся наука неокантианства — совсѣмъ не философія. Гегель, величайшій философъ-кантианецъ, мыслилъ свою философію самозавершеніемъ Бытія; неокантианцы же, ученые, всегда относились весьма подозрительно, какъ къ Бытію, такъ и къ концу; зато весьма положительно къ прогрессу. („Открытая система“ Риккерта).

Какъ могъ Кантъ дѣйствительно положить основаніе научной философіи, когда для самаго глубокомысленнаго кантианца Гегеля наука, въ современномъ смыслѣ, конечно же... дурная безконечность.

VII

Въ отличіе отъ повисающихъ обыкновенно въ пустотѣ нарядныхъ парадоксовъ, общія мѣста, ходячія мнѣнія, всегда живутъ на счетъ искажаемыхъ въ нихъ существенныхъ истинъ.

Какую же существенную истину искажаетъ широко распространенное въ современности мнѣніе, будто только наука

дѣйствительно объективна; искусство же, религія, жизнь, политика — все только вкусы, о которыхъ не спорятъ?

VIII

Конечно, искусство ни въ какой мѣрѣ и степени не субъективнѣе науки. Все дѣло только въ томъ, что структура научной объективности требуетъ уничтоженія, структура же эстетической объективности — наоборотъ: утвержденія *категоріи лица*; мы же живемъ въ эпоху обезличенную научной объективностью техники.

IX

Научная истина, въ которую вѣритъ ученый, (ученый не тотъ, кто не вѣритъ, а тотъ, кто вѣритъ въ истину) требуетъ отъ него не только преклоненія, но и колѣнопреклоненности, не только признанія, но и подчиненія. Образъ найденной истины обязателенъ для всякаго ученаго, какъ прообразъ искомой имъ истины. Въ послѣднемъ счетѣ всякій ученый или ищетъ уже найденную истину, или утверждаетъ, что найденное было ложью. Во всемъ этомъ сказывается деспотическій духъ науки. Искусство и деспотизмъ несовмѣстимы.

X

Быть толстовцемъ совсѣмъ не значитъ писать какъ Толстой, а значитъ исповѣдывать ученіе Толстого, направленное самимъ Толстымъ противъ своего искусства.

Принадлежать къ пушкинистамъ совсѣмъ не значитъ сочинять стихи подъ Пушкина, а значитъ изучать творчество Пушкина.

Превращеніе всякаго собственнаго имени художника въ нарицательное выводитъ какъ изрекающаго это превращеніе, такъ и нарекаемыхъ имъ, за предѣлы искусства.

Этимъ отнюдь не отрицается значеніе преемственности и традиціи въ искусствѣ. Но развѣ не ясно, что быть ученикомъ

Толстого или Пушкина значитъ учиться писать не подъ Толстого и Пушкина, а изъ самого себя. Всѣ прямые послѣдователи въ искусствѣ всегда только убогіе имитаторы; всѣ буйные новаторы — упорные консерваторы; консерваторы подлинной природы искусства.

XI

Наука живетъ прогрессомъ. Искусство прогресса не знаетъ. Научный прогрессъ возможенъ потому, что въ наукѣ возможны переоформленія одного и того же содержанія разными формами. Въ искусствѣ прогрессъ невозможенъ потому, что въ искусствѣ связь содержанія и формы не расторгима и никакое переформленіе немыслимо.

Взаимоотношеніе формы и содержанія въ наукѣ всегда временная связь прагматическаго характера. Взаимоотношеніе ихъ въ искусствѣ не только вѣчная тайна, но и таинство. Птоломей былъ въ свое время отмѣненъ Коперникомъ „Фаустъ“ никогда не отмѣнялъ „Божественной комедіи“.

XII

Блокъ былъ правъ, что боялся стать „достояніемъ доцента“. Исторія литературы — наука не только не возможная, но поскольку возможная, постольку и вредная. Всѣ связи, которыя ученые (обыкновенно мало любящіе искусство), устанавливаютъ между отдѣльными писателями и эпохами, называя ихъ именами школъ, теченій и направленій, совершенно фиктивны. Ни одинъ *настоящій* художникъ никогда ни въ чемъ не ловторилъ другого. У каждаго все совсѣмъ заново и все со дна. Все какъ будто бы повторяющееся, какъ будто бы обще-направленское и школьно-типичное основано не на историческихъ вліяніяхъ, а на до и внѣ историческихъ духовныхъ созвучіяхъ между душами писателей (*Wahlverwandtschaften*).

Все сказанное неоспоримо вѣрно однако лишь съ одной рѣшающей оговоркой. Нельзя забывать, что настоящимъ худож-

никомъ въ каждомъ изъ его произведеній бываетъ обыкновенно написано только нѣсколько безсмертныхъ страницъ. Къ смертнымъ же страницамъ, въ которыхъ тонуть безсмертныя, все сказанное никакъ не относится. Этими смертными страницами живутъ историки литературы, устанавливающіе школы, вліянія, теченія, біографическія основы и т. д.

Исторія литературы была бы очень полезной наукой, если бы ясно сознавала, что занимаясь искусствомъ, она занимается исключительно тѣмъ, что въ немъ не отъ духа искусства. Русская общественная и соціологическая литературная критика была въ извѣстномъ смыслѣ совсѣмъ не такъ не права и глупа, какъ это казалось символистамъ.

Невѣжествомъ внѣэстетическій подходъ къ искусству становится лишь въ связи съ ни на чемъ не основанной мыслью будто бы въ искусствѣ вообще нѣтъ недоступной историку Вѣчности.

Федоръ Степунъ.



О БЛАГОДАРНОСТИ

(Изъ дневника 1919 г.)

Когда пятилѣтній Моцартъ, только что отбѣжавъ отъ клавесина, растянулся на скользкомъ дворцовомъ паркетѣ, и семилѣтняя Марія-Антуанэтта, единственная изъ всѣхъ, бросилась къ нему и подняла его, — онъ сказалъ: „Celle-je l'eroiseraï“, и, когда Марія-Тереза спросила его, почему, — „Par reconnaissance“.

Сколькихъ она и потомъ, Королевой Франціи, подымала съ паркета — всегда скользкаго для игроковъ — честолюбцевъ — кутиль, — крикнулъ ли ей кто нибудь — par reconnaissance — „Vive la Reine!“ — когда она въ своей телѣжкѣ проѣзжала на эшафотъ.

Reconnaissance — узнаваніе. Узнавать — вопреки всѣмъ личинамъ и морщинамъ — разъ, въ какой то часъ узрѣнный, настоящій ликъ.

(Благодарность).

Я никогда не бываю благодарной людямъ за поступки, — *только* за сущности! Хлѣбъ, данный мнѣ, можетъ оказаться случайностью, сонъ, видѣнный обо мнѣ, всегда сущность.

Я беру, какъ я даю: слѣпо, такъ же равнодушная къ рукѣ дающаго, какъ къ своей, получающей.

Человѣкъ даетъ мнѣ хлѣбъ. Что первое? Отдарить. Отдарить, чтобы не благодарить. Благодарность: даръ себя за благо, то-есть: платная любовь.

—

Я слишкомъ чту людей, что бы оскорблять ихъ платной любовью.

—

Оскорбительно для меня, слѣдовательно и для другого.

—

Добрая воля, направленная на меня, никогда ничего не предрѣшала. Личность (направленность на меня) дара, въ моемъ воспріятіи дара, отсутствуетъ. Я благодарна не за себя и не за сосѣда, я благодарна.

—

Меня не купишь. Въ этомъ вся суть. Меня можно купить только сущностью. (То-есть — сущность мою!) Хлѣбомъ Вы купите: лицемѣріе, лжеусердіе, любезность, — всю мою пѣну... если не накопъ.

Купить — откупиться. Отъ меня не откупишься.

—

Купить меня можно — только всѣмъ небомъ въ себѣ! Небомъ, въ которомъ мнѣ можетъ - быть даже не будетъ мѣста.

—

Благодарна я внѣ-лично, то-есть лишь тамъ, гдѣ я, помимо доброй воли человѣка и безъ его вѣдома могу взять сама.

—

Отношеніе не есть оцѣнка. Это я устала повторять. Оттого, что ты мнѣ далъ хлѣба я можетъ - быть стала добрѣе, но ты отъ этого не сталъ прекраснѣй.

—

Поступокъ не есть отношеніе, отношеніе не есть оцѣнка, оцѣнка (критикомъ, на примѣръ, Блока) не есть сущность (Блокъ).

Сущность — умыселъ, слышна только слухомъ.

Кусокъ хлѣба отъ противнаго человѣка. Удачный случай. Не больше.

Вмѣ вашъ хлѣбъ и поношу. — Да. —

Только корысть — благодарна. Только корысть мѣритъ цѣлое (сущность) по куску, данному ей. Только дѣтская слѣпость, *глядящая* въ руку, утверждаетъ: „Онъ далъ мнѣ сахару, онъ хорошій“. Сахаръ хорошій, да. Но оцѣнивать сущность человѣка по сахарамъ и „чаямъ“, отъ него полученнымъ, простительно только дѣтямъ и прислугамъ: инстинкту.

Да и то нѣтъ: мы часто наблюдаемъ собакъ, предпочитающихъ господина своего, ничего не дающаго, — кухаркѣ, кормящей.

Отождествлять источникъ благъ съ благами (кухарку — съ мясомъ, дядю съ сахаромъ, гостя — съ чаевыми) признакъ полной неразвитости души и мысли. Существо, не пошедшее дальше пяти чувствъ.

Собака, любящая за то, что глядятъ, выше кошки, любящей за то, что гладятъ, и кошка, любящая за то, что гладятъ, выше ребенка, любящаго за то, что кормятъ. Все дѣло въ степеняхъ.

Такъ, отъ простѣйшей любви за сахаръ — къ любви за ласку — къ любви при видѣ — къ любви не видя (на разстояніи), * — къ любви, не взирая (на нелюбовь), отъ маленькой любви за — къ великой любви *внѣ* (меня) — отъ любви получающей (волей другого!) къ любви берущей (даже помимо воли его, безъ вѣдома его, противъ воли его!) — къ любви *въ себѣ*.

* Отсюда — вся я.

Чѣмъ старше мы, тѣмъ большаго мы хотимъ: въ младенствѣ — только сахара, въ юности — только любви, въ старости — только (!) сущности (тебя внѣ меня).

Чѣмъ меньше мы внѣшнія блага цѣнимъ, тѣмъ легче мы ихъ даемъ и беремъ, тѣмъ меньше мы за нихъ благодарны.

(Практически: благодарность за хлѣбъ (даяніе) я допускаю только молчаливую. Въ явной — нѣчто устыждающее дающего, какой то укоръ).

Радость хлѣбу — вотъ лучшая благодарность! Благодарность, кончающаяся съ послѣднимъ глоткомъ въ пищеводъ.

Неужели эта частность, малость, подразумѣваемость (для меня) — *дать* — неминуемо должна вырасти въ какую-то гору, изъ за приставки: *мнѣ*.

Я то вѣдь знаю, какъ даютъ: слѣпо! И я развѣ сама стерплю, чтобы меня благодарили за хлѣбъ? (За стихи не стерплю, — вотъ что!).

Хлѣбъ — развѣ это я?! Стихи (случайность пѣсеннаго дара) — развѣ это я?!

Я, это подъ небомъ, одна. Отойдите и благодарите.

Я не хочу низко думать о людяхъ. Когда я даю человѣку хлѣбъ, я даю голодному, то-есть пищеводу, то-есть *не ему*. Его душа здѣсь не причемъ. Я могу дать любому — и не я даю: любой. Хлѣбъ самъ себя даетъ. И я не хочу вѣрить, чтобы любой, давая моему пищеводу, требовалъ за это съ моей (или моей) души.

Но не пищеводъ даетъ: душа! Нѣтъ рука. Эти дары не личны. Странно предпочитать одинъ желудокъ другому, а если и предпочитать — то болѣе голодный. Болѣе голодный, на сегодня, мой (твой). Я за это не отвѣтственна.

—

Такъ, установивъ дающаго (руку) и получающаго (пищеводъ) — странно требовать одному куску мяса отъ другого куска мяса... благодарности.

—

Души благодарны, но души благодарны исключительно за души. Спасибо за то, что ты есть.

Все остальное — отъ меня къ человѣку и отъ человѣка ко мнѣ — оскорбленіе.

—

Дать, это не дѣйственность наша! Не личность наша! Не страсть! Не выборъ! Нѣчто, принадлежащее всѣмъ (хлѣбъ), слѣдовательно (у меня его нѣтъ) у меня отобранное, возвращается (черезъ тебя) ко мнѣ, (черезъ меня — къ тебѣ).

Хлѣбъ нищему — возстановленіе правъ.

Если бы мы давали кому *мы* хотимъ, мы были бы послѣдніе негодяи. Мы даемъ тому, *кто* хочетъ. Его голодъ (воля!) вызываетъ нашъ жестъ (хлѣбъ). Дано и забыто. Взято и забыто. Никакой связи, никакого родства. Давъ, отмежевываюсь. Взявъ, отмежевываюсь.

Безъ послѣдствій.

— „Такъ зачѣмъ же мнѣ тебѣ давать?“

— Чтобы не быть подлецомъ.

—

Помню гимназисткой — въ проходномъ церковномъ дворѣ — нищій. — „Подайте, Христа ради!“ Миную. — „Подайте, Христа ради!“ Продолжаю идти. Онъ, забѣгая: „Не ради Бога — такъ хошь ради чорта!“

Почему дала? Вознегодовалъ.

—

Хлѣбъ. Жестъ. Дать. Взять. Этого не будетъ *тамъ*. Поэтому все, возникающее изъ дать и взять — ложь. Самъ хлѣбъ — ложь. Ничто, построенное на хлѣбѣ, не уцѣлѣетъ (замѣшанное на дрожжахъ — не взойдетъ). Опара нашихъ хлѣбныхъ чувствъ при хладной температурѣ Безсмертія неминуемо опадетъ.

Не стоитъ и замѣшивать.

—

Брать — стыдъ, нѣтъ, давать — стыдъ. У берущаго, разъ беретъ, явно нѣтъ; у дающаго, разъ даетъ, явно есть. И вотъ эта очная ставка есть съ нѣтъ...

Давать нужно было бы на колѣняхъ, какъ нищіе просятъ.

—

Къ счастью, этимъ стыдомъ даянія награждены только нищіе. (Деликатность ихъ дара!) Богатые ограничиваются минутной заминкой докторскаго гонорара.

—

Благодарность: отъ любованія до опрокинутости.

Я могу любоваться только рукой, отдающей послѣднее, слѣдовательно: я никогда не могу быть благодарной богатымъ.

... Развѣ что за робость ихъ, за виноватость ихъ, сразу дѣлающую ихъ невинными.

—

Бѣдный, когда даетъ, говоритъ: „Прости за малость“. Смущеніе бѣднаго отъ „больше не могу“. Богатый когда даетъ, ничего не говоритъ. Смущеніе богатаго отъ „больше не хочу“.

—

Дать, это настолько легче, чѣмъ брать — и настолько легче, чѣмъ *быть*.

Богатые откупаются. О, богатые безумно боятся — не Революціи, такъ Страшнаго Суда. Я знаю мать, покупающую молоко чужому (больному!) ребенку только для того, чтобы не погибъ ея собственный (здоровый). Богатая мать, спасая чужого ребенка отъ смерти (достоверной), только выкупаетъ своего у смерти возможной. („Умолить судьбу!“).

Я смотрю въ истокъ поступка, въ умысль его. Это молоко ей, богатой матери, на Страшномъ Судѣ потечетъ смолой.

—
Благотворительность. Поликратовъ перстень.

—
Даръ нищаго (кровный, послѣдній!) безличень. „Богъ даетъ“. Даръ богатаго (излишекъ, почти отбросъ) имѣетъ имя, отчество, фамилію, чинъ, званіе, родъ, день, часъ, число. И — память. Дала правая, а помнятъ обѣ.

Нищій, подавъ изъ руки въ руку, забылъ. Богатый, выславшій черезъ прислугу, помнитъ. И, если вдуматься, понятно: нѣкій оправдательный матеріаль для Страшнаго Суда.

— Гадательный матеріаль.

Марина Цвѣтаева.

Москва, іюль 1919 г.



Софіи Зерновой

НѢСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ПОЭЗИИ

Всякое слово есть то полуслово, съ котораго понимаетъ, или не понимаетъ, человѣкъ человѣка.

Настоящее стихотвореніе должно все давать, и все обѣщать.

У философіи самая мелкая языковая мѣра: километръ.
Почти всѣ философы приняли ее безоговорочно.
Философская борьба идетъ километрически.
Отойдемъ же въ сторонку съ нашими аршинчиками и вершочками...

Дочь фараона Хеопса (если вѣрить сплетнику Геродоту) хотѣла выстроить *свою* пирамиду, для чего требовала отъ каждаго, недвусмысленно къ ней приходящаго, одинъ камень. Удалось ли построить дочери Хеопса пирамиду, — не знаю, но въ ея намѣреніи было несомнѣнно болѣе непосредственнаго вкуса, чѣмъ въ осуществленномъ намѣреніи ея родителя...

...Среди писателей, гораздо больше фараоновъ, нежели ихъ дочерей.

Удовлетворяются объясненіемъ слова: „поэзія“, это все равно, что быть довольнымъ собою: высшій предѣлъ нетонкости.

Иногда кажется, что даже такіе несомнѣнно общіе всѣмъ слова, какъ предлоги — понимаются людьми разно.

Человѣкъ рождаетъ человѣка, оттого, что самъ онъ — человѣкъ.

Человѣкъ рождаетъ ребенка, потому что самъ онъ былъ ребенкомъ. — Въ этомъ доказательство заложеннаго въ немъ отрицанія лжи: иначе — поэзіи.

Поэтъ долженъ любить свой стихъ, какъ собака любитъ своего щенка: пока онъ беспомощенъ.

Одиночество, это книга, которую надо читать съ карандашемъ въ рукахъ.

Какъ почти каждый фотографъ, отпускающій волосы, считаетъ себя артистомъ, такъ почти каждый искренно говорящій слово: „люблю“, считаетъ себя любящимъ.

Наибольшую роль въ словесности нашей, надо признать за „I“ девятиричнымъ, *какъ не нуждающемся въ точкѣ...*

Настоящее утверждение, можетъ ли оно быть уподоблено „I“ девятиричному?

Научная философія напоминаетъ жизнь, какъ сгустокъ крови, упавшій на землю, напоминаетъ кровь текущую по жиламъ.

Объ аристотелизмѣ и платонизмѣ въ поэзіи:

Литературные критики дѣлятся на образующихъ и на воспитывающихъ; первые — научнѣе, вторые — цѣннѣе.

Название литературнаго произведенія должно быть болѣе содержательно, чѣмъ само это произведение; менѣе ограничено.

Писатель, это Подходъ.

Поэзія, — оттѣнки любви.

Мысль изреченная не есть ложь. Она — тотъ камень, на которомъ ложь ощущается.

Геній всегда проситъ подаянія, несмотря на то, что всѣ нищи, кромѣ него.

Идея кощунства, это одна изъ тѣхъ идей, до которыхъ людямъ труднѣе всего возвысится.

Если бы Блокъ не былъ диллетантомъ мышленія, онъ, можетъ быть, былъ бы геніальнымъ поэтомъ...

Если бы Анненскій не былъ геніальнымъ поэтическимъ диллетантомъ, онъ, можетъ быть, былъ бы хорошимъ мыслителемъ.

Русская грамматика, это англійская юстиція: есть законы и нѣтъ законовъ. Центръ — въ просвѣщенномъ судѣ.

Игрокъ, который все время выигрываетъ, можетъ называться поэтомъ.

Единственныя теоріи, которыя, думается, можно признавать въ (поэтической?!) политикѣ, это утопическія, потому что конечно лучше считать главнымъ невозможное, чѣмъ неглавное.

Мѣрой качества стихотворенія можно (такъ же) признать мѣру возможности его фразъ быть эпиграфами.

Каждая вещь должна лежать на своемъ мѣстѣ... отсюда „оправданіе“ распредѣленія словъ въ каждомъ стихѣ.

Поэзія — тоже искупленіе первороднаго грѣха.
Борьба за гармонію первичнаго (и конечнаго) человѣка.

Не надо строить замка изъ поэзіи; надо, только, бороться противъ ея обращенія въ уличный домикъ, гдѣ каждый можетъ останавливаться на минуту.

Сколь болѣе французы довольствуются своимъ отшлифованнымъ, до потери духовности, языкомъ, чѣмъ русскіе своимъ вольнымъ...

(Вотъ тема для романа: „Кто виновать?“)

Русскій человѣкъ мыслить „именемъ и отчествомъ“.
„Западный“ — только „именемъ“. (У насъ даже Базаровъ — Евгений Васильевичъ)

Самое главное творчество поэта, это творчество вдохновенія.

Умный человѣкъ, это тотъ, кто можетъ понять глупаго, — говоритъ апостоль Павелъ.

Умный человѣкъ, это тотъ, кто не можетъ понять глупаго, — говоритъ Ницше.

Прогрессъ въ искусствѣ, это, въ сущности, — желаніе прыгнуть выше того мѣста, гдѣ должна быть голова.

Въ искусствѣ, какъ и въ жизни, самый легкій, а значитъ и истинный путь, — путь наибольшаго сопротивленія.

Наука, это хожденіе въ ногу; — не подъ барабанъ, а подъ скрипку.

Въ поэзіи, стараться влѣзть въ окно, это — ломиться въ открытую дверь.

Да простятъ меня пролетарскіе писатели за эту шутку.

Нѣтъ, не словъ мало, на языкѣ человѣческомъ, чтобы „объяснять“, а слишкомъ много ихъ, чтобы можно было говорить.

Людямъ нужна не геніальность, а способность къ ее примѣчанію.

Канономъ всяческаго искусства слѣдуетъ признать невозможность.

Какъ людей можно узнавать по глазамъ, такъ и литературныя произведенія по — заглавіямъ.

Никакое противопоставленіе простаго - сложному не убѣдительно. —

Ихъ совмѣстимость — даже любовь — можно провѣрить на мысли о смерти.

Всякая мысль тяготѣетъ къ невысказанному.

Внѣ поэзіи, это: снять полъ шапки, поставить послѣ слова „смерть“ точку съ запятой...

Все въ мірѣ шито бѣлыми нитками. Это, вообще, единственные нитки, которыя существуютъ.

Богъ только То, Кого за все благодарить можно. Поэзія божественна, потому что благодарима за все, за все...

Трубленіе въ розу: переложеніе стихотворенія на музыку.

Степени цѣнности поэтова творчества:

- 1) жить.
- 2) писать о жизни — слагать стихи.
- 3) писать о стихахъ.

Кн. Д. А. Шаховской.



Архивъ

Библіографія

РОССІЯ ВЪ ПИСЬМЕНАХЪ *)

КУПЧАЯ

1742 — 1746

„ — — наступи на землю Половецкую, притопта холмы и яругы, возмути рѣки и озера, иссуши потоки и болота, а поганаго Кобяка изъ луки-моря отъ желѣзныхъ великихъ полковъ Половецкихъ, яко вихрь выторже, и падеся Кобякъ въ градъ Кіевъ, въ гриднищѣ Святослави — — “

Начну со „Слова о полку Игоревѣ“ о в. князѣ Святославѣ и о половецкомъ ханѣ Кобякѣ, не потому что о нихъ рѣчь, а потому что въ „купчей“ покупщикъ потомокъ „поганаго“ хана — Кобяковъ: купилъ Кобяковъ у Левашова крестьянина Абрама Панова съ женою, съ дѣтьми, съ ихъ дворовымъ и хороннымъ строеніемъ, съ хлѣбомъ стоячимъ и молоченымъ и въ землѣ посѣяннымъ, съ мелкою и рогатою скотиною и лошадьми и со всѣми ихъ крестьянскими пожитками, въ вѣчное владѣніе, въ прокъ, безповоротно за 50 рублей; а у Секериной крестьянскую дѣвку Ксенію Иванову, никому не проданную, не заложенную и ни въ какихъ крѣпостяхъ не укрѣпленную, за 3 рубля. И вотъ судьба — „въ вѣчное владѣніе, въ прокъ, безповоротно!“ — а послѣдній въ родѣ, послѣдній поганный ханъ Кобякъ, поэтъ Дмитрій Кобяковъ не сѣрымъ волкомъ

*) I томъ „Россіи въ письменахъ“ изданъ въ Берлинѣ 1922 г. въ изд. Геликонъ племянникомъ „Современныхъ Записокъ“.

по степи рыщетъ, а въ Парижѣ на желѣзной дорогѣ на товарной станціи сцѣпщикъ вагоновъ, и такъ черный-половчанинъ! — а отъ мазута, копоти и пыли что ужъ чернѣе не бываетъ, и дѣти зовутъ его галчонкомъ, ныряетъ подъ вагонами со своими стихами.

— — —

Чтобы знать свой языкъ, мало знать, какъ пишется слово и выговаривается, надо знать, какъ писалось и выговаривалось. А для этого необходимо ходить по письменнымъ русскимъ вѣкамъ — читать старинныя грамоты, памяти и изучать памятники литературы. Это и для Россіи, гдѣ живутъ русскіе люди, и для заграницы, куда попали жить русскіе люди.

Въ Россіи этихъ грамотъ и старинныхъ памятей горы — лежатъ неразобранныя, глазомъ не выласканныя и не вычитанныя, ждутъ: приходи и пользуйся. Другое дѣло за границей — много ль сюда занесло старинной русской бумаги! А вѣдь тутъ она еще цѣннѣе, чѣмъ на родинѣ, — нужнѣе для русскаго человѣка, попавшаго жить за границей. Читая и разбирая грамоту, будто разговариваешь съ русскимъ, хорошо говорящимъ по русски. А это такое счастье, и такое — точно въ Россіи побывалъ, отъ самой земли слово послушалъ.

Русскому человѣку какъ нужно беречь эту „старинную память“, если попала она ему въ руки! И какъ надо искать ее среди нерусскихъ бумагъ, а найдя, не прятать для показа пріятелямъ, а дать человѣку, который можетъ разобрать, а потомъ напечатать, чтобы всѣ читали — строчку за строчкой, поговорили бъ и здѣсь, на землѣ нерусской, послушали бъ Россію, ея слово. Вѣдь слово — это крѣпъ, крѣпче всякаго секкотина!

Прежнее время часто какъ говорили, такъ и писали. Вотъ посмотрите: „въ родѣ своемъ не послѣдней“, „женѣ ево“, „дѣте мъ“, „бе с поворотнo“, з дѣ тми“, „вступатца“, „п е тдесять“, „Мещерск а й“, „Выбо рского“, „де н ги“, „дене хъ“, „три рубли“, „вз е ла“, „по чищен а му“, „свидѣтел я мъ“, „стацк а й“, „унт дѣ рь - а фицеръ“, „Григор е й“, „копѣ я къ“,

„Валконъской“ (или „Волкъконской“). А теперешнее: „почему нибудь“ раньше было — „по чему ни буди“. А Леоновъ звался „Левоновымъ“.

Объ купчи — и Левашовская (15. 9. 1742 г.) и Секеринская (9. 9. 1746 г.) написаны на орленой бумагѣ, вокругъ орла напечатано: „Писать крѣпости и выписи до 50 и въ 50 рублей и Отказные книги — 1738, 2 ко.“

(1738 г. — въ царствованіи Анны Іоановны (1730-1740); 1742-46 — въ царствованіи Елизаветы Петровны (1741-1761).

I

В тысяща семь-сотъ четьредесять-второго, сентября пятого-надесят дня отставной капрал Иванъ Аѳонасьевъ сынъ Левашовъ, в родѣ своем непослѣдней, продал я, Иванъ, дворянину Ѳедору Иванову сыну Кобякову, женѣ ево і дѣтем — в вѣчное владѣние, в прок, бесповоротно — из Пронского уѣзду Каменского стану, из деревни Салковой земли крестьянина Аврама Герасимова сына Панова, з женою ево Натальею Васильевою дочерью и з детми Ефимомъ, Дмитриемъ и со их дворовым и хоромным строением, с хлѣбом стоячим и молоченым и в земле посеянным, и с мелкою і рогатою скотиною и с лошадми и со всеми ихъ крестьянскими пожитки, — за которого своего крестьянина Аврама, з женою і з детми ево и со всеми их пожитки, взял я, Иванъ, у него, Ѳедора Кобякова, денегъ пятьдесятъ рублей; а напред сей купчей оной мой крестьянин, з женою і з детми, иному никому не проданы, не заложены и ни у кого ни в каких крепостях не укреплены; а буде кто у него, Ѳедора, у жены ево и у детей и у наследниковъ, во оного моего крестьянина, з женою ево и з детми, учнет вступатца по каким крепостям или по чему ни - буди, и мнѣ, Ивану, и жене моей и детем и наследником, ево, Ѳедора, жену ево и детей и наследников, ото всяких крепостей очищат, харчей и упытков не доставить; а ежели моим неочищением оной мой крестьянин, з женою и з детми і со всеми ево крестьянскими пожитки, от него, Ѳедора, от жены ево і от детей і от наследников, по каким крепостям или по чему ни - буди отойдутъ, и ему, Ѳедору Кобякову, женѣ ево и детем и наследникомъ ево, взять с меня, Ивана, з жены моей і с наслед-

ников, вышеписанные свои данные денги пятьдесят рублей и убытки все сполна, что ему в том учинины ж.

К сей купчей капроль Иванъ Аванасъевъ сынъ Левашовъ вышеписанного своего крестьянина Аврама Панова, женою ево Наталъею и з детми Ефимомъ, Дмитрием и со всеми пожитки ихъ дворянину Федору Кобякову продоль и денегъ петъдесять рублейъ взялъ и руку приложилъ.

У сей купчей капитанъ князь Василей княж Степановъ сынъ Мещерскай свидетелем былъ и руку приложилъ.

У сей купчей капитанъ Никонъ Тарасовъ сынъ Арсеньевъ и при взете денегъ свидетелем былъ и руку приложилъ.

Купчую писалъ Переславской Правинциальной Канцелярии Рязанского копеистъ Алексѣй Сарыковъ.

1742-го году, сентября 15-го дня сия купчая в Переславской Крепостной Канторе Рязанского в книгу записана, пошлин отъ писма и от записки и на расход пять рублейъ двадцкъ двѣ копѣйки три четверти взято, подписалъ надсмотрщикъ Алексѣй Сарыковъ.

II

Лѣта тысяща семьсотъ четыредесят - шестаго, сентября девятаго дня Выборского пехотного полку сержанта Василья Иванова сына Секерина жена ево Прасковья Иванова дочь продала я дворянину Федору Иванову сыну Кобякову по повѣренному писму оного мужа моего крепостную ево крестьянскую дѣвку Михайловского уѣзду деревни Савинки Ксению Иванову дочь, — а за эту дѣвку взяла я, Прасковья, у него, Федора Кобякова, денегъ три рубли; а напред сего она моя дѣвка иному никому не продана и не заложена и ни у кого ни в каких крепостях не укреплена; а ежели в ту мою дѣвку станет кто по каким крепостямъ вступатся, и мнѣ, Прасковье, дѣтем и наслѣдникомъ моимъ ево, Кобякова, жену, дѣтей и наслѣдников ево, ото всяких крепостей и ото вступщиков очищать і убытка никакова не доставить; а буде нашимъ неочищеніем та моя дѣвка по чему писму от него, Кобякова, и от жены и от дѣтей і от наслѣдников ево, отойдет, и ему, Кобякову, женѣ, дѣтем и наслѣдником ево, взять с меня, Прасковьи, з дѣтей и с наслѣдников моих, вышеписанныя данныя свои денги и с убытки всѣ сполна.

К сей купчей Прасковья Иванова дочь, сержанта Васильева жена Секерина вышеписанная мужа своего девку Ксению Иванову дочь дворянину Федору Кобякову продала и денехъ

три рубли взяла и руку приложила; а что сверху в четвертой строке по чиссенаму написана „жена“, а о том я не спюрю.

У сей купчей капитан Иван Даниловъ сынъ Спицынъ свидетелямъ былъ и руку приложилъ.

У сей купчей отставной сенацъкай унтдѣръ-аѳицеръ Василей Родивоновъ сынъ Легоновъ свидѣтелемъ был и руку приложил.

У сей купчей статцкой советникъ князь Григорей княж Оедоров сын Валконъской свидетелемъ былъ и руку приложилъ.

Купчую писал по приказу надсмотрщика Переславской Правинциальной Канцеляриі Рязанского писец Александръ Жепинъ.

1746 года сентября въ 9 день сея купчая в Переславской Правинциальной Канцеляриі Рязанского у крепостных дѣл в книгу записано, пошлинъ тритцать от писма и от записки дватцат копѣякъ, на расходъ четверть копеки взято, подписал надсмотрщикъ Тимоѳей Бѣляев.

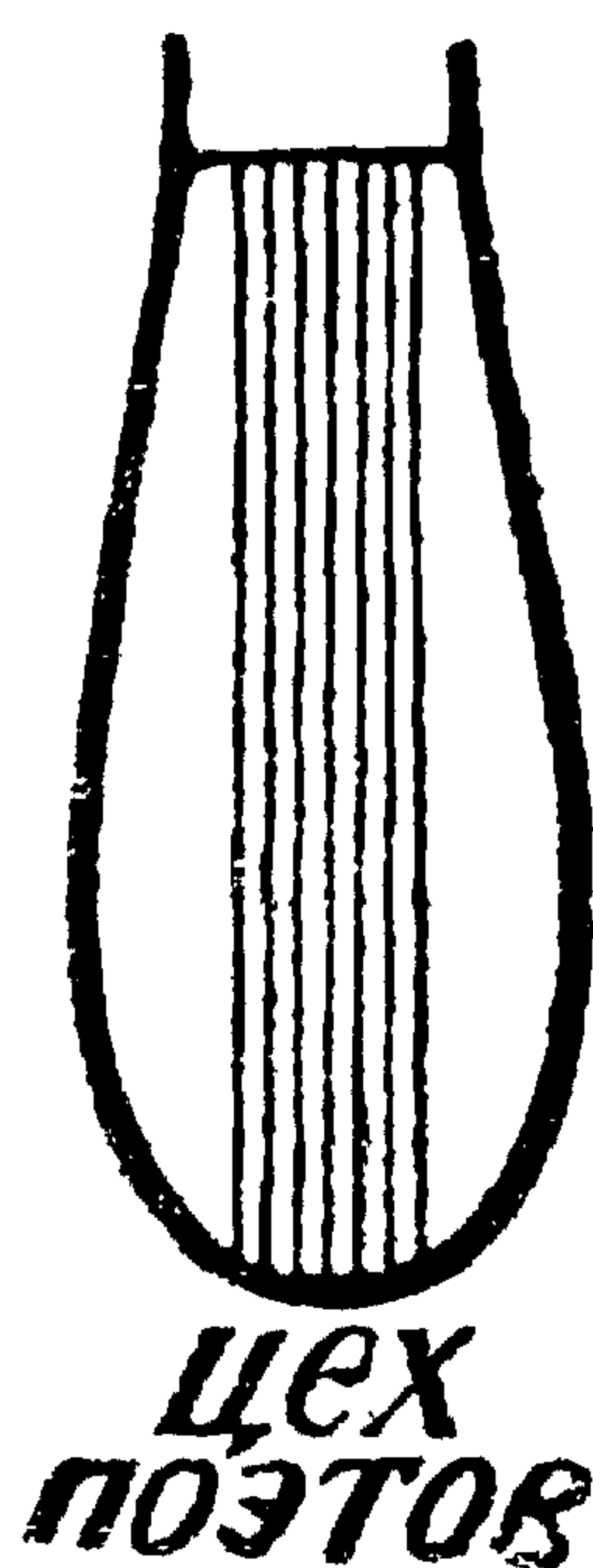
Пошлин — 30 ко.

от писма — 10 ко.

от записки — 10 ко.

на расход — $\frac{1}{4}$

Алексѣй Ремизовъ.



ОБЪ ОДНОЙ НЕИЗВѢСТНОЙ НАХОДКѢ ПУШКИНСКИХЪ РУКОПИСЕЙ

Моему отцу, старшему изъ сыновей Александра Сергѣевича было всего лишь пять лѣтъ, когда дѣдъ палъ сраженный пулей д'Антесса.

Преемственно отъ своего отца я не могъ сохранить какихъ бы то ни было свѣдѣній объ Александрѣ Сергѣевичѣ. Единственное впечатлѣніе врѣзавшееся въ дѣтскую память отца, и которое не разъ онъ мнѣ передавалъ въ разговорѣ, была минута прощанія съ Александромъ Сергѣевичемъ, когда ихъ, съ братомъ Григоріемъ и сестрами Маріей и Наталіей, привели къ постели умирающаго Александра Сергѣевича. Эта тяжелая и трогательная минута прощанія, тревога дѣда за жену и дѣтей, высокомилостивое письмо Государя Николая Павловича, взявшаго подъ свое покровительство вдову и сиротъ... Все это слишкомъ хорошо извѣстно.

Многочисленные и ученые почитатели таланта дѣда, посвятившіе долгіе годы упорнаго труда изученію всего, что имѣетъ отношеніе къ личности и дѣятельности его, не оставили кажется ничего не обслѣдованнаго и не сказаннаго, начинающая полнѣйшей біографіей дѣда и кончая подробной генеалогіей нашего рода отъ начала XIII вѣка до нашихъ дней. Не имѣя возможности состязаться съ почтенными пушкинѣйцами въ ихъ научной эрудиціи, передъ которой можно лишь преклоняться, я ставлю себѣ гораздо болѣе скромную задачу: сообщить читателямъ *Благонамѣреннаго* нѣкоторыя свѣдѣнія о неизданныхъ, и неизвѣстныхъ публикѣ, трудахъ моего дѣда, которые лишь недавно, и совершенно случайно, попали въ мое обладаніе.

Всѣмъ хорошо извѣстно, что дѣдъ А. С., по порученію Государя Николая Павловича занимался составленіемъ исторіи Петра Великаго, но, несмотря на самые тщательные розыски, никакихъ слѣдовъ этой работы обнаружено не было. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, мнѣ посчастливилось найти матеріалы собранные дѣдомъ, но война и революція помѣшали ихъ опубликованію и понынѣ препятствуютъ мнѣ опубликовать мою находку. „Русскій бунтъ безсмысленный и безпощадный“, тотъ бунтъ, котораго, въ пророческомъ предвидѣніи, такъ опасался мой дѣдъ, произошелъ на нашихъ глазахъ, сметая въ своей дикой и слѣпой ярости вѣковую культуру, науку и искусство, и разоряя наши дворянскіе усадьбы, гдѣ хранилось столько памятниковъ минувшихъ дней. Въ пламени этого бунта можетъ погибнуть или вновь затеряться моя находка, но по крайней мѣрѣ свѣдѣнія сообщенныя мною сохранятся въ памяти читателей.

Вотъ при какихъ обстоятельствахъ мнѣ удалось розыскать Исторію Петра Великаго или точнѣе матеріалы къ ней. Однажды, собираясь изъ одного изъ нашихъ имѣній въ Москву, я приказалъ отправить въ городъ кое какіе деревенскіе припасы. Мое вниманіе, случайно, привлекъ свертокъ завернутый въ бумагу, желтоватый цвѣтъ и поблекшія, выцвѣтшія чернила которой несомнѣнно указывали на ея старину. Заинтересованный, я развернулъ бумагу и — можно представить мое изумленіе — когда я увидѣлъ письмо начинающееся обращеніемъ „Глубокоуважаемый Александръ Сергѣевичъ“ и помѣченное тридцатыми годами прошлаго столѣтія.

Я хорошо зналъ всю огромную библіотеку имѣнія и нахожденіе письма адресованнаго дѣду было для меня тѣмъ болѣе необъяснимымъ, что эта библіотека еще не задолго передъ тѣмъ была вся разобрана, приведена въ порядокъ и списана молодымъ ученымъ спеціально приглашеннымъ для этой цѣли. Мнѣ, такъ же, хорошо было извѣстно, что дѣдъ никогда не жилъ въ этомъ имѣніи. Какимъ же образомъ найденное письмо могло оказаться въ домѣ? Въ полномъ недоумѣніи, я послалъ за ключницей и спросилъ у нея, гдѣ она взяла бумагу для упаковки провизіи. „Да мы, баринъ, всегда беремъ изъ ящика,

что на чердакъ“ получилъ я простодушный отвѣтъ. Понятно, пресловутый ящикъ былъ немедленно изъятъ изъ обладанія доброй старушки и я тотчасъ же приступилъ къ его обслѣдованію. Находка оказалась еще богаче чѣмъ я могъ ожидать, такъ какъ, кромѣ довольно значительнаго количества писемъ адресованныхъ дѣду и носящихъ исключительно дѣловой характеръ, на днѣ ящика я обнаружилъ три большихъ рукописныхъ тома озаглавленныхъ: „Матеріалы къ Исторіи Петра Великаго“. Такъ вотъ, гдѣ столько лѣтъ безвѣстно хранились труды разыскиваемые пушкинѣйцами, и, не будь они переплетены, не пощадила бы ихъ хозяйственная рука старушки ключницы.

Съ литературной точки зрѣнія, Исторія Петра Великаго не представляетъ большого интереса, такъ какъ повѣствованіе отсутствуетъ совершенно и собранный дѣдомъ матеріалъ является лишь огромной и весьма тщательной подготовительной работой. Но научная и особенно историческая цѣнность матеріаловъ громадна. Всѣ три тома кругомъ исписаны мелкимъ убористымъ почеркомъ, а лаконичность записей еще увеличиваетъ объемъ собранныхъ данныхъ. Мѣстами замѣтки настолько подробны что представляютъ поденную запись дѣятельности Императора.

Дальнѣйшее разслѣдованіе дало мнѣ объясненіе факта находенія ящика съ документами и Исторіей Петра Великаго въ этомъ имѣніи. Послѣ пожара уничтожившаго усадьбу, гдѣ находилась библіотека дѣда, уцѣлѣвшія вещи, и въ томъ числѣ сама библіотека, были временно привезены на храненіе въ другое имѣніе, то самое гдѣ были найдены документы. При обратной перевозкѣ одинъ изъ ящичковъ былъ очевидно забытъ и нѣсколько десятковъ лѣтъ спокойно пролежалъ на чердакъ, не привлекая ничьего вниманія.

Н. А. Пушкинъ.

1925 г.



КЪ ЗАПРЕЩЕНІЮ „ЕВРОПЕЙЦА“

(Изъ неизданныхъ писемъ И. В. Кирѣевского къ В. А. Жуковскому).

Нужно ли напоминать читателямъ исторію запрещенія лучшаго журнала Николаевской эпохи — „Европейца“, просуществовавшаго всего одинъ — 1831-ый годъ? Исторія эта слишкомъ извѣстна. Несмотря на совершенную и явную фантастичность цензурной интерпретаціи умной и талантливой статьи И. В. Кирѣевского „Девятнадцатый вѣкъ“, несмотря на всѣ хлопоты воспитателя Наслѣдника — В. А. Жуковского — передъ Николаемъ I, одинъ изъ самыхъ лучшихъ журналовъ прекратилъ свое существованіе.

Цензурная интерпретація статьи Кирѣевского — какъ ни была нелѣпа эта интерпретація — не разъ давала поводъ говорить о либерализмѣ молодого Кирѣевского и невольно внушала піэтеть къ его статьѣ, увѣнчанной ореоломъ. Піэтета „Девятнадцатый вѣкъ“ дѣйствительно заслуживаетъ, но не потому, что эта статья отличается либерализмомъ, а въ силу другихъ — и по нашему мнѣнію болѣе серьезныхъ основаній — въ ней блещитъ и умъ, и талантъ И. В. Кирѣевского, своеобразнаго поэта-критика и мыслителя-критика.

Если и могли быть какія-нибудь сомнѣнія или тѣни сомнѣній въ подлинныхъ намѣреніяхъ, настроеніяхъ и взглядахъ автора „Девятнадцатаго вѣка“, — эти сомнѣнія вполне и окончательно разрушаются двумя опубликовываемыми нами письмами И. В. Кирѣевского къ В. А. Жуковскому (подлинники писемъ находятся въ Онѣгинскомъ музеѣ).

Письма И. В. Кирѣевского не датированы, но время ихъ написанія опредѣляется и содержаніемъ и почтовымъ штемпе-

лемъ перваго письма — 1 февраля 1832 года (второе письмо написано черезъ нѣсколько дней):

Милостивый Государь

Василій Андреевичь,

Я не помню, чтобы что ни-будь когда ни-будь удивило меня столько, сколько извѣстіе о запрещеніи моего журнала. Я до сихъ поръ еще не могу понять въ чемъ и за что меня обвиняють. Одно несомнѣнно, это то, что я правъ и слѣдовательно оправдаюсь. Но не смотря на то признаюсь, что обвиненіе въ неблагонамѣренности есть одно изъ самыхъ тяжелыхъ. Конечно люди, которые знаютъ меня не усумнятся въ чистотѣ моей; но многіе-ли знаютъ меня? — Я еще не успѣлъ заслужить общей довѣренности и большая часть людей равнодушныхъ скажетъ: „онъ обвиненъ, слѣдовательно виноватъ“. — Меня утѣшаетъ то, что Вы не сомнѣваетесь во мнѣ; — да! Вы лучше другихъ можете знать меня, потому, что Вы знаете мою мать, которой вся жизнь есть прекрасное доказательство душевной чистоты, и я самъ какъ бы мало извѣстенъ Вамъ ни былъ, но изъ уваженія къ ней Вы не можете предположить во мнѣ ни низкой двуличности, ни безумной злонамѣренности. Я могу ошибаться въ моихъ мнѣніяхъ, но ошибаться откровенно, а не фальшивить, не прятать смысла тайнаго и вреднаго подъ наружностью благовидною. Это послѣднее обвиненіе всего больше оскорбляетъ меня. Я буду писать къ Генералу Бенкендорфу, какъ скоро Цензурный Комитетъ объявитъ мнѣ о запрещеніи моего журнала; я буду писать отъ полного сердца, постараюсь высказать всю сущность моего образа мыслей, объясню откровенно цѣль, съ которою я предпринялъ изданіе журнала, мысли, которыя имѣлъ писавши *19-й вѣкъ*, и кого и что разумѣлъ, говоря о *пристрастїи къ иностранцамъ*, и несомнѣваюсь въ томъ, что оправдаюсь совершенно и полно, потому, что я никогда не имѣлъ мыслей вредныхъ и противныхъ общественному благоустройству; никогда не произносилъ ни одного слова съ цѣлью неблагонамѣренною. Если меня

обвиняютъ, то конечно потому только, что судятъ по отдѣльнымъ фразамъ, прочтеннымъ не въ связи съ цѣлымъ и не соображеннымъ со всею системою моихъ мыслей; — но есть ли книга на свѣтѣ, въ которой отдѣльныхъ фразъ нельзя бы было перетолковать во всѣхъ возможныхъ смыслахъ? — Но положимъ даже, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ я выразился не довольно ясно; но неясность есть порокъ литературный, а не преступленіе; недосказанное сегодня я досказалъ бы завтра; и если бы въ самомъ дѣлѣ слова мои имѣли два смысла, то я не понимаю чѣмъ я заслужилъ толкованіе дурное, а не хорошее. Если бы спросили у меня объясненіе, я бы далъ его откровенное и полное. Но впрочемъ, — нѣтъ худа безъ добра: я оправдаюсь, это несомнѣнно, и отъ всего этого останется мнѣ въ жизни одно щастье: это то, что въ минуту моего обвиненія Вы вѣрили моему чистотѣ и не сомнѣвались въ благонамѣренности моихъ чувствъ. Какъ бы хотѣлъ я выразить Вамъ всё полноту того святаго чувства, съ которымъ я читалъ Ваше письмо! — Какъ нетерпѣливо жду я возможности доказать, что человѣкъ, котораго Вы почтили Вашимъ добрымъ мнѣніемъ, не можетъ быть ни извергъ ни предатель.

Вашъ

Иванъ Кирѣевскій

Второе письмо написано черезъ нѣсколько дней — послѣ того, какъ „Европеецъ“ былъ запрещенъ уже официально:

Спѣшу сказать Вамъ нѣсколько словъ, которыя неловко говорить по почтѣ. Я получилъ наконецъ запрещеніе официально. Меня обвиняютъ самымъ неслыханнымъ образомъ, говоря, что подъ словомъ *Просвѣщеніе* я разумѣю свободу, подъ словомъ *дѣятельность разума*, я разумѣю революцію и пр. Какъ оправдываться? — Сказать просто: я этого не разумѣлъ, — неповѣрятъ; доказать нелѣпость обвиненія смысломъ самой статьи, — и не поймутъ, и не прочтутъ. И какимъ тономъ вступать въ полемику съ самимъ Государемъ, котораго

имя на каждой строчкѣ многорѣчиваго запрещенія? — Вотъ я думаю какъ сдѣлать: напишу оправданіе, какъ умѣю; посоветуюсь, съ кѣмъ могу, и пришлю къ Вамъ. Если Вы не одобрите его, то напишите ко мнѣ, что оно слишкомъ длинно, что я могъ бы сказать тоже короче, что я не долженъ затруднять понапрасну людей занятыхъ важными дѣлами и пр. А между тѣмъ скажите Вяземскому, что и какъ я долженъ перемѣнить. Онъ безпрестанно имѣетъ случай писать не по почтѣ. Журнала издавать я уже небуду. Но мнѣ бы хотѣлось получить позволеніе снова издавать его для того, что эта уступка Правительства была бы полезна для всей литературы. Неимовѣрно какъ она вдругъ стѣснилась запрещеніемъ Европейца.

Маминька не пишетъ къ Вамъ потому, что нездорова. У нея желчная горячка. Вчера былъ кризисъ и теперь ей немного лучше, хотя все еще она очень страдаетъ.

Обнимаю Васъ отъ всей души.

Вашъ И. Кирѣевскій.

Скоро издателю „Европейца“ пришлось убѣдиться въ томъ, что въ Россіи фраза „Одно несомнѣнно, это то, что я правъ и слѣдовательно оправдаюсь“ звучитъ не трюизмомъ, а парадоксомъ... Тщетно Жуковскій обращался съ письмами, объяснительными записками и докладами къ графу А. Х. Бекендорфу и къ самому имп. Николаю I (переписка объ „Европейцѣ“ также сохранилась въ Онѣгинскомъ музеѣ и была напечатана въ „Русскомъ Архивѣ“) — И. В. Кирѣевскому не удалось доказать свою правоту.

М. Л. Гофманъ.



ПИСЬМО С. ШЕВЫРЕВА

Печатаю только что найденное за рубежом ¹⁾ письмо С. Шевырева, Редакция воздерживается отъ какихъ бы то ни было комментариевъ.

Янв. 24
Февр. 5

1859. Москва.

Любезный другъ, Князь Александръ Никитичъ! ²⁾

Это письмо вмѣстѣ съ экземпляромъ моей книги, третьяго тома Исторіи Русской Словесности, недавно вышедшаго, взялъ доставить тебѣ Князь Николай Ивановичъ Кудашевъ, одинъ изъ моихъ молодыхъ московскихъ пріятелей, студентъ-юристъ Московскаго Университета, отличный молодой человекъ съ драматическимъ талантомъ. Врачи гонятъ его къ веснѣ въ Италію. Сдѣлай милость, прими его съ свойственнымъ тебѣ радушіемъ, какъ моего пріятеля, и снабди его рекомендаціями въ Италію, гдѣ онѣ ему особенно нужны. Я далъ ему письма къ твоей матушкѣ и къ Владиміру.

Благодарю тебя за Бартенева. Онѣ отъ тебя въ очарованіи. Ты просто его облагодѣтельствовалъ, цривративъ какимъ-то Овидіевымъ превращеніемъ изъ хромага Вулкана въ крылатаго Меркурія и тѣмъ сохранивъ ему всю его бібліотеку.

Я радъ случаю доставить тебѣ книгу мою. Ты всегда меня упрекалъ дружески въ томъ, что я, начавъ многое, не оканчиваю. Помня этотъ справедливый упрекъ, я издалъ продолженіе Исторіи Русской Словесности. Надѣюсь, что ты при-

¹⁾ Письмо найдено въ октябрѣ 1925 года среди бумажнаго хлама дома маркиза Александра Владиміровича Кампанари, въ Римѣ.

²⁾ Волконскій.

мешь новую книгу мою также дружелюбно и гостеприимно, какъ принимаешь всѣхъ русскихъ путешественниковъ, проѣзжающихъ черезъ Дрезденъ. Она мнѣ стоила большихъ трудовъ. Теперь готовятся 4-й и 5-й томы. Но пока еще не готовы, я печатаю свой старый грѣхъ, который вполнѣ никогда не былъ изданъ: Валленштейновъ Лагерь, переводъ, который былъ еще читанъ на Тверской, въ домѣ Княгини Бѣлосельской, послѣ одного изъ литературныхъ обѣдовъ у твоей ма-тушки, въ присутствіи Пушкина и Мицкевича. Сожалѣю что не могу тебѣ его теперь послать. Онъ выйдетъ черезъ недѣлю.

Давно я собирался писать къ тебѣ. Жена и дѣти здоровы; Борисъ мой уже кончилъ первый курсъ въ Военной Академіи и надѣлъ эксельбантъ — это первая ученая степень военнаго человѣка. Намъ очень бы хотѣлось къ осени въ Ита-лію — и года на два, если не болѣе. Надобно укрѣпить силы и освѣжиться. Воспитаніе дѣтей здѣсь все становится труднѣе. Университеты въ какомъ то броженіи, а ученье и науки идутъ плохо. Лучше воспитывать дѣтей за границей, мнѣ тѣмъ болѣе, что Русскій элементъ я повезу имъ съ собою. А западную науку лучше брать изъ ея источника, чѣмъ у нашихъ обезьянъ изъ источника мутнаго, заемнаго.

Гдѣ Князь Вяземскій? Судя по газетамъ, въ Ниццѣ. Увѣдомь меня. Онъ хотѣлъ черезъ тебя вести со мною переписку, но виноватъ я, что не началъ ее. — Ветеранъ нашей литературы, послѣ пяти послѣднихъ стихотвореній, имъ здѣсь напечатанныхъ, замолчалъ. Въ литературѣ Русской теперь водополье. Взломавши ледъ, пригрѣтый солнышкомъ кроткой власти, она пустилась какъ рѣка и несетъ все что ни попало. Журналы и газеты растутъ что грибы. Непривычка къ гласности обнаруживается сильно въ неловкостяхъ, въ горячкѣ, въ заносчивости. Хлещутъ и бьютъ другъ друга по чемъ ни попади, напоминая, помнишь этихъ аскетовъ Римскихъ, кото-рые гдѣ то въ Римской церкви производили другъ на другомъ ланкастерское сѣченіе. *Отдѣлать* когонибудь первое удовольствіе. Это слово Грознаго, означавшее его казни, теперь перешло въ нашу литературу: въ ней казни непрерывныя. Ни одинъ журналъ почти, ни газета, не обходится безъ заплечныхъ

мастеровъ и литературныхъ опричниковъ. Ни самоуваженія, ни взаимнаго уваженія мы не знаемъ. Сорвавшись съ цѣпи, или лучше вырвавшись изъ запертой школы, бушуемъ, кричимъ, вѣдемъ жгуты и ну другъ друга!

Между тѣмъ талантами оскудѣла Русская земля. Ни Пушкина, ни Гоголя, ничего подобнаго. Прежніе таланты, при свободѣ цензуры, не стали плодовитѣе. Семидесятилѣтній старикъ, начавшій свое поприще еще подъ вліяніемъ Лагарповской школы, заткнулъ за поясъ все молодое поколѣніе своими произведеніями. Ты, конечно, знакомъ съ Записками ружейнаго охотника, Оренб. губерніи, съ Воспоминаніями и Семейною хроникой и наконецъ съ Дѣтскими годами Багрова внука, Сергѣя Тимоѣевича Аксакова.

Литература социальная и экономо-политическая въ большомъ ходу. Но, къ сожалѣнію, всѣ вопросы разрѣшаются отвлеченно. На словахъ мы уже давно освободили крестьянъ и народъ отъ тѣлеснаго наказанія, а на дѣлѣ еще продаемъ ихъ въ розницу какъ барановъ и гоняемъ сквозь строй послѣ военнаго суточного суда за денной грабежъ, въ которомъ столько же виноватъ, если еще не болѣе, недоглядъ полиціи, сколько мошенники. Эти зрѣлища теперь собираютъ всю Москву, подъ пару казнямъ литературнымъ, которыя совершаетъ Русскій Вѣстникъ (Катковъ) надъ благородными людьми, Княземъ Черкасскимъ и Кошелевымъ.

Но прости... Отъ этихъ зрѣлищъ новой Руси я ухожу въ древнюю, бесѣдую съ праотцами въ Синод. б - текѣ, въ Іосифовомъ монастырѣ и плодъ этихъ бесѣдъ передъ тобою. Здѣсь миръ и тишина. До другого письма. Поцѣлуй ручку у Княгини за меня. Жена и вся семья моя тебѣ и Княгинѣ душевно кланяются.

Твой С. Шевыревъ.



БИБЛИОГРАФІЯ

ВЪ ОГНЬ - СИНЬ

(Марина Цвѣтаева „Молодецъ“
Сказка. Изд. Пламя. Прага, 1924)

Не вѣтеръ въ горахъ
Сѣдины отрясь.
Гудитъ въ мраморахъ
Двѣнадцатый часъ.

Раскатъ двѣнадцатаго часа —
раскатъ рока. И подъ знакомъ
рока — вся поэма М. Цвѣтаевой
„Молодецъ“.

Звеньями пѣсенъ спаянъ раз-
сказъ — послѣдовательностью пѣ-
сенъ — цѣпью пѣсенной опредѣ-
ляется связь событій — цѣпь по-
вѣствовательная. Всѣми звонами,
гудами, переливами, зазывами —
мѣди, серебра, хрусталя звенить
и поетъ стихъ. Чудодѣйной силой
заклинанья убѣждаетъ и завора-
живааетъ. Звукъ передающій дви-
женіе. Движеніе превращенное въ
звучаніе.

Пѣснь переходящая въ бѣгъ,
плясъ, вихрь.

Но не въ этомъ только сила
поэмы.

Не въ томъ, что каждое слово
самозвонно — изъ матеріала звон-
ко - голосового, перекличка созву-
чій, перекатъ, перехватъ звуковъ -
самогудовъ. И не въ изумительной
инструментовкѣ музыкальнаго по-
стренія, не въ знаніи стихіи на-
родной лирики — но въ подходѣ
къ сюжету, въ томъ внѣ - времен-
номъ, надъ - національномъ, что

является сущностью этой чисто
народной и русской сказки.

Старинное, общеславянское
сказаніе объ упырѣ — многократ-
но послужившее основой русскихъ
сказокъ, претворяется авторомъ
въ поэму нечеловѣческой любви -
судьбы.

Воля — обреченность — рокъ.

Тема — любовь молодца, скры-
таго упыря къ дѣвушкѣ — Мару-
сѣ. Любовь и съ той и съ другой
стороны мгновенно вспыхнувшая,
неодолимая — „пуще жизни, пуще
смерти“.

Въ упырѣ - молодцѣ любовь
вызываетъ борьбу двухъ началъ,
скрытыхъ въ немъ — человѣче-
скаго и потусторонняго. Человѣ-
ческое любитъ Марусю любовью-
нѣжностью, любовью жалостью.
И гибели Маруси не хочетъ. По-
тустороннее — подчиненное зако-
намъ намъ невѣдомымъ — тре-
буетъ жертвъ, вовлекая въ кругъ
своихъ чаръ Марусю, губитъ ее и
всѣхъ близкихъ ей.

Молодецъ - человѣкъ неви-
нень, неволенъ въ этомъ. Чело-
вѣческой волей онъ сопротив-
ляется жестокому велѣнію судьбы.
Но власть судьбы неодолима, и
молодецъ - упырь не можетъ по-
щадить дѣвушку.

Упырь опознанный, въ глаза
своимъ именемъ названный, по
народнымъ повѣріямъ въ прахъ
разсыпается.

И молодецъ - человекъ умоляетъ Марусю сказать ему правду о томъ, что видѣла она ночью, когда тайно, по наущенью матери, шла за нимъ.

Все мнѣ до самой
Капли и выложь
И разорвется
Весь нашъ союзъ —
Вѣтромъ въ воротцы
Ввѣкъ не вернусь.

Онъ угрожаетъ ей смертью брата и гибелью матери. Она молчитъ, но

Разъ — другой
Съ колокольни бой —

Бой часовъ — бой рока — онъ слышится часто въ поэмѣ. Глаголь времянь — металла звонъ онъ напоминаетъ о судьбахъ не здѣсь задуманныхъ, о рѣшеніяхъ не здѣсь взвѣшенныхъ. Колокольный бой и отказъ съ ея стороны — она

Глаза скидываетъ
— Была — видѣла? — Нѣтъ,

Нѣтъ, ибо она уже во власти судьбы.

И угроза осуществляется — послѣдовательно гибнуть — братъ, мать и сама Маруся.

Пять встрѣчъ — три гроба. Лежитъ Маруся, „какъ въ церкву убрана“. Глаза не зрячи, хотя уже видятъ внѣ - временное, живымъ невѣдомое. Прошлое и будущее, для насъ разъятое, тамъ — въ одномъ измѣреніи. И чудится ей одновременно и прошлое, когда еще не жила и будущее, когда снова будетъ жить — въ одномъ снѣ слитыми.

А надъ нею молодецъ - упырь творитъ заклинанія, чтобы изъ

кровинки алымъ цвѣткомъ зацвѣла, изъ цвѣтка свѣжей прежняго встала, снова бы жизнь начала, прошлое забыла.

Силой заклатья ограждаетъ онъ ее и себя отъ неизбывной власти любви. Велитъ „цвѣсти скромно“, „глядѣть на земь“, чтобы встрѣтивъ, не сглазить невольно. И еще — въ искупленіе пяти встрѣчъ грѣховныхъ — пять годовъ въ новой жизни прожить безъ обѣдни.

Жизнь земная пройдена, но искусь не конченъ. Начинается жизнь вторая на землѣ — полу-явь, полу-сонъ.

По заклатію — въ чистомъ полѣ, въ снѣгахъ — распускается Маруся алымъ цвѣткомъ. Проѣзжій баринъ „буень-баринъ, бубень-баринъ“ прельщается имъ и вырвавъ съ корнемъ, по совѣту слуги, увозитъ подъ шубой домой.

У барина мраморный домъ.

Сугробъ — бѣлая гора,
Прадѣдовы мрамора.

Привозный, посаженный цвѣтокъ алымъ огнемъ зажегъ бѣлый мраморъ. Зачарованный баринъ забылъ прежнія забавы. Онъ „цвѣтикомъ не налюбуется“. Съ нимъ „нѣжничаетъ, жизнью небрежничаетъ“.

Вскорѣ онъ узнаетъ, что по ночамъ цвѣтокъ превращается въ дѣвушку и выслѣживаетъ ее — околдованный ея чарами.

Одна изъ лучшихъ — сцена призрачнаго пляса: только мѣсяць, да мрамора (Какъ разыграетъ, раскалясь, лунный лучъ во хрусталяхъ). Она пляшетъ и

плачетъ, чьей-то волѣ покорная — плачетъ и пляшетъ.

И только подь утренній звонъ возвращается къ кусту, что бы снова превратиться въ цвѣтокъ. Баринъ за нею „какъ припаянъ, какъ приклепанъ“. Хватаетъ за руки. Между ними борьба, но она —

Бьется изъ рукъ,
Бьется изъ рукъ,
Рвется изъ рукъ,
Льется изъ рукъ.

И только когда слуга пришелъ на помощь и произнесъ

Крестъ тебѣ — ключъ
она превратилась въ земную женщину и становится его женой.

Пятый годъ къ концу идетъ. У барыни сынъ. Все по слову Молодца. Что было раньше забыто.

Живетъ, какъ во снѣ — качаетъ сына — пѣсни поетъ. И вдругъ въ замороженное бытіе врывается нежить. Съ гикомъ, шумомъ, завистью, злобой вторгается въ образъ гостей — пьяныхъ, наглыхъ, хитрыхъ. Играя на барской спѣси и дури, гости подготавливаютъ барина показать сына и жену, которой до срока искупленія положеннаго Молодцемъ, осталось пять дней.

Подъ пьяный зыкъ, топотъ и крики разгулявшихся гостей у Маруси пробуждается смутное воспоминаніе о прежней жизни. Къ извѣчной тоскѣ народныхъ колыбельныхъ пѣсенъ — предчувствіе тяжелой судьбинности жизни — примѣшивается тоска о несбывшемся, придающая пѣснѣ изумительную музыкальность горчайшихъ народныхъ причитаній.

По настоянію барина она выходитъ съ сыномъ. „Хороша да некрещена“ вопятъ гости и подстрекаютъ барина дать клятву свезти ее въ церковь къ обѣднѣ.

Еще въ окнахъ „разсвѣтныя сѣди, разсвѣтныя сквози“. Спитъ барыня

И еле — какъ будто бы мысли
сказались —
Надъ барыней — шелестъ :
— Проснись, моя зависть !

Это онъ — Молодецъ, вѣсть подаетъ и, чуя бѣду надъ нею хочетъ переломить судьбу и спасти ее отъ окончательной гибели — на вѣчность.

И слезно — какъ будто бы
женщина плачетъ —
— Не ѣди ! Не ѣди !
Блаженствомъ заплатишь !

Бой мѣди — бой рока — звонятъ къ обѣднѣ. Баринъ велитъ коней запрягать.

Подъ санный бѣгъ, подъ вьюжный запѣвъ, Маруся въ видѣніяхъ метели воочию видитъ всю свою прежнюю жизнь : мертваго брата, мертвую мать, подружекъ, и, наконецъ, себя алымъ цвѣткомъ, на перекресткѣ.

У церкви входъ загораживаетъ толпа нищихъ, тѣхъ же, на этотъ разъ въ рубищахъ, „гостей“.

Идетъ обѣдня. Поетъ хоръ. Голосъ священника и голосъ его — Молодца, оттуда ей вѣсть подающей.

Ратоборство двухъ голосовъ — споръ о душѣ.

— Гряди !
Сердце мое — смятѣся во мнѣ !

Слова божественной службы и его слова :

Трезвенница! Дѣвственница!
Кладезь, лишь мнѣ — вѣдомый!
Дивенъ твой рай!
Красенъ твой кринь!
Сына продай,
Мужа отринь.

Онъ надъ нею — знаетъ близокъ часъ, неотвратимое свершится — ибо судьба неодолима. Но, какъ и тогда, невольно вовлекая ее въ кругъ гибели, онъ все таки пытается бороться съ судьбой. И тамъ не умерла въ немъ любовь человѣческая. И жалѣя Марусю, еще пытается предостеречь:

Окомъ не вскинъ!
Взоромъ не взглянь

въ лѣвую оконницу, куда приникъ онъ тайно и куда влечется она.

Съ первыхъ строкъ, поднимающаяся, неоскудѣвающая волна напряженія, все нарастая, въ послѣдней главѣ достигаетъ наивысшаго, трагического пафоса.

„Огла - шенни,
Изыдите!“

Грозный возгласъ, и голосъ его —

— Свѣтъ очей моихъ!
Нѣдръ владычица!

и снова — Оглашенни — Она прощается съ сыномъ — никнетъ — Голосъ Молодца - человѣка въ послѣдній разъ молить:

Только глазка не вскинъ:
Въ лѣвой оконницѣ!

Грянулъ торжествующій хоръ — херувимская:

„И - же хе - рувимы!“

Ударъ — окно на стежь. Никакія силы, никакіе законы.

— Гляди, безпамятна!
(Ни зги — людъ замертво)

— Гяду сердь рдяная!
Ма - руся!

Глянула.

Въ окна потокомъ огонь: Маруся — при звукахъ своего имени вспомнившая, себя нашедшая — къ нему —

Та — ввысь,
Тотъ — вблизи:
Свились,
Взвились:
Зной — въ зной,
Хлынь — въ хлынь!
До - мой
Въ огонь - синь.

Передать содержаніе Молодца — хотя оно ясно и послѣдовательно развертывается — трудность непреодолимая. Слишкомъ музыкально связаны между собой строфы — всѣ строчки нерасторжимыя звенья — хлынувшій ливень звуковъ, колокольный разливъ — сыгравшійся оркестръ — не разъять на отдѣльныя части — не расчленишь звуковъ. Чтобы полностью воспринять, надо прочесть цѣликомъ — никакой пересказъ не передастъ ритмически-музыкальнаго богатства.

Излагая содержаніе, хотѣлось отмѣтить одну изъ сторонъ творчества Цвѣтаевой — переплетеніе, переключка жизни „этой“ — земной и „той“.

Слова, которыми заканчивается „Молодецъ“, для М. Цвѣтаевой знаменательны.

Домой — въ огонь - синь.

Аріадна Чернова.

НОВАЯ ПОЭМА ЕСЕНИНА

Сергѣй Есенинъ написалъ свою первую романтическую поэму „Анна Снѣгина“. Послѣ кабацкихъ пѣсенъ, — элегическія воспоминанія: разросшійся садъ, цвѣтущая сирень — и у калитки дѣвушка въ бѣломъ платьѣ... Въ ранней юности онъ любилъ ее, и она ласково сказала ему „нѣтъ“.. Тургеневская усадьба, романсъ Глинки...

„Мы всѣ въ эти годы любили,
Но мало любили насъ.

Прошли года... отягченный житейскимъ опытомъ и славой поэтъ возвращается въ родныя мѣста. Они вновь встрѣчаются. Съ горькой усладой вспоминаютъ о невозвратномъ... Быть можетъ и она его любила... Они расстаются... она съ чужбины пишетъ ему нѣжно-грустное письмо:

Но вы мнѣ по прежнему милы,
Какъ родина и какъ весна...

и легкимъ вздохомъ провожая свою молодость, авторъ просвѣтленно и печально заканчиваетъ:

Мы всѣ въ эти годы любили,
Но значитъ
Любили и насъ.

Есенинъ въ роли чувствительнаго мечтателя — зрѣлище занятное. Крестьянскій паренекъ, малый бойкій и озорной, вдругъ декламируетъ „какъ хороши, какъ свѣжи были розы“. Что скажутъ совѣтскіе критики: вѣдь это непорядокъ — у пролетарскаго поэта — „дворянская идеологія“! И дѣло происходитъ въ семнадцатомъ году не девятнадцатаго, а двадцатаго вѣка.

Романтизмъ Есенина — особенный. „Усадебная тема“ разработана въ „народномъ“ стилѣ; вокругъ „разросшагося сада“ буйствуютъ пьяные мужики и замирающіе звуки романса чередуются съ матерщиной. Поэма, несмотря на всю свою чувствительную серьезность, кажется пародіей. „Поэтический“ сюжетъ съ мѣщанско-фабричной фразеологіей. Глинка не вышелъ, получился стишокъ вродѣ

Когда я бываю съ тобою,
Тогда ты бываешь со мной.

Сентиментальность конторщика, бренькающаго на гитарѣ. Попытки автора возвести себя въ романтическіе герои — крайне плачевны. Вотъ описаніе перваго свиданія послѣ разлуки: онъ открываетъ глаза послѣ долгой болѣзни и видитъ ее: она узнала, она пріѣхала, она сидитъ у его изголовья (неизбѣжный шаблонъ романческаго жанра). До сихъ поръ все — трогательно и благородно. Но вотъ она начинаетъ говорить... и все, сразу погибаетъ. Какъ она выражается, эта нѣжная дѣвушка въ бѣломъ!

— А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я васъ не видала...
Теперь изъ ребяческихъ лѣтъ
Я важная дама стала,
А вы знаменитый поэтъ.
Ну, сядемъ.
Прошла лихорадка?
Какой вы теперь не такой!
Я даже вздохнула украдкой,
Коснувшись до васъ рукой.

А онъ отвѣчаетъ:

— Да - да...
Я сейчасъ вспоминаю...

Садитесь...
 Я очень радъ...
 Я вамъ прочитаю немного
 Стихи про кабацкую Русь...
 Отдѣлано четко и строго,
 По чувству цыганская грусть.

А она :

— Сергѣй! Вы такой нехорошій!
 Мнѣ жалко, обидно мнѣ,
 Что пьяные ваши дебоши
 Извѣстны по всей странѣ.

Потомъ ея усадьбу грабятъ:
 она переѣзжаетъ въ домъ поэта
 и признается, что тайно его лю-
 била. Но скрывала свою любовь
 и вполнѣ основательно :

Потомъ бы меня вы бросили,
 Какъ выпитую бутылъ.
 Поэтому было не надо...
 Ни встрѣчи... ни вообще
 продолжать...

Она уѣзжаетъ въ Лондонъ и
 романъ кончается. Остается си-
 рень, погорбившійся плетень, ка-
 литка... Общественная работа от-
 рываетъ поэта отъ личной жизни.
 Въ Россіи — Совѣты и общее
 ликованіе. Одинъ, изъ дѣйстви-
 ющихъ лицъ поэмы, живописно
 рассказываетъ объ этомъ подѣ-
 смѣ народного чувства :

Дружище! Вотъ это номеръ!
 Вотъ это починъ, такъ починъ.
 Я съ радости чуть не померъ,
 А братъ мой въ штаны намочилъ.
 Едрижъ твою въ бабушку
 плюнуть.....

Это уже — не Тургеневъ.

К. Мочульскій.

РЕЦЕНЗІЯ О ЧИТАТЕЛЯХЪ

Андрей Балашевъ. „Сти-
 хотворенія“. На чужбинѣ.
 Пѣсни гусарскія. Для не-
 многихъ. 60 проц. отъ про-
 дажи 1000 пронумерован.
 экз. поступаетъ въ казну
 Е. И. В. Великаго Князя
 Николая Николаевича.

Взявъ книгу, задаешь вопросъ
 въ пространство: почему только
 среди монархическихъ людей мо-
 жно встрѣтить человѣка жертву-
 ющаго, столь открыто, книгу сво-
 ихъ — ужасно плохихъ — „Стихо-
 твореній“ на спасеніе Родины? от-
 куда такое невѣроятное пониманіе
 спасенія Родины, вообще Поэзіи,
 вообще Скромности?.. Мы знаемъ,
 что хочетъ дать Балашевъ вмѣсто
 Литературы. Онъ хочетъ дать
искренность. Онъ хочетъ, чтобы
 мы перешагнули черезъ поэтиче-
 скую грамотность его вдохновенія
 и остановились бы у его душев-
 ныхъ переживаній. Мы должны
 почувствовать „искренность“ по-
 эта, мы должны *повѣрить* его сти-
 хотвореніямъ. Парадоксъ невѣро-
 ятный и вынужденный: Искрен-
 ность г-на Балашева есть орга-
 низованная Анти-поэзія.

Стихотвореніе „патріотическое“,
 это — стихотвореніе „граждан-
 ское“; стихотвореніе „граждан-
 ское“, это — стихотвореніе „про-
 летарское“. Цѣль этихъ трехъ
 поэзій одна: свести искусство къ
 логическо-сентиментальной про-
 пагандѣ отвлеченныхъ идей: Мар-
 ксизма, Царя, Демократіи.

Быть патріотическимъ поэтомъ,
здѣсь вовсе не значитъ писать
 прекрасные стихи объ Афри-
 кѣ, — *здѣсь* это значитъ писать
все равно какіе стихи о Россіи.

Быть пролетарскимъ поэтомъ совсѣмъ не значитъ писать хорошіе стихи о жизни, но — *все равно какіе* стихи о жизни молотобойца. И быть наконецъ, гражданскимъ поэтомъ, это отнюдь не значитъ выбирать себѣ гражданство въ звѣздахъ, а значитъ считать себя гражданиномъ государства уважающаго Соціальный Контрактъ Руссо, и всѣхъ дѣятелей французской революціи, кромѣ Наполеона...

Это не шутка. Это страшная для искусства, для поэзіи, для жизни дѣйствительность, знаменующая не слова смерти, а дѣла ея.

Считать патриотичнымъ неумѣлое, слабое стихотвореніе, пустенькую мелодію, рисунокъ, гдѣ Царь нарисованъ съ тремя носами — уже не слово, а дѣло...

Здѣсь проходитъ вселенская линія Анти-поэзіи — подлинный большевизмъ литературнаго духа.

Д. А. Ш.

О ЛЮБВИ, ПОЭЗИИ... И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБѢ

Новая небольшая (судя по замыслу, порядочная) попытка организовать литературу. Издательство „Кругъ“ выпустило сборникъ Литературнаго Центра Конструктивистовъ: „Госпланъ Литературы“.

Въ газетномъ приложеніи къ сборнику (Извѣстіе Л. Ц. К. Августъ 1925), на первой страницѣ напечатано большими буквами: — СОГЛАШЕНИЕ. Немного меньше-

ми: — Московской Ассоціаціи пролетарскихъ писателей (МАПП) и Литературнаго Центра Конструктивистовъ. А дальше маленькими буквами: „Соглашающіяся стороны: 1) не оставляя разработки принциповъ организациі художественной формы, требуемыхъ современностью, — направляютъ всю творческую дѣятельность на организацию психики и сознанія читателей въ сторону коммунистическихъ задачъ пролетаріата. 2) Путемъ устныхъ и печатныхъ выступленийъ проводятъ неуклонное разоблаченіе осколковъ буржуазно-помѣщичьихъ и мнимо-попутническихъ литературныхъ группировокъ, которыя подъ видомъ борьбы съ „засильемъ“ идеологій въ искусствѣ и подъ прикрытіемъ требованія технической свободы художника („свободы творчества“), затемняютъ смыслъ эпохи и тѣмъ самымъ фактически дезорганизуютъ классовое культурное строительство пролетаріата...“

На слѣдующей страницѣ „Извѣстій“ — рѣчь предсѣдателя Л. Ц. К. — И. Сельвинскаго, произнесенная имъ на пленумѣ конструктивистовъ въ мартѣ 1925 г. Выписываю изъ этой рѣчи: „...Наша продукція въ первую очередь поэтическая и теоретическая продукція. Большинство литературныхъ организациій особенно страдаетъ отъ политическаго уклона. У насъ производственная линія была объявлена особо - ударной...“

Въ самомъ сборникѣ: „Госпланъ Литературы“ напечатаны произведенія семи конструкторовъ конструктивизма: Ильи Сельвин-

скаго, Корнелія Зѣлинскаго (идеолога Л.Ц.К.), Вѣры Инберъ (недавно-обращенной элцекистки), Бор. Агапова, Дира Туманнаго, И. А. Аксенова (второго идеолога Л.Ц.К.). Начинается книга съ лозунга: „пролетариату, чтобы завоевать политическую власть, надо было организовать возстаніе. Для завоеванія же власти искусства — нужно организовать искусство“. Манифестная статья (Зѣлинскаго) талантлива. Авторъ, дѣйствительно, *все* рассказалъ о конструктивизмѣ, какъ о литературной теоріи. Одно изъ центральныхъ положеній статьи: „Конструктивизмъ перенесенный въ область искусства, формально превращается въ систему максимальной эксплуатации темы“... Требованіе „мотивированнаго искусства“ упирается въ „принципъ грузофикации“, т. е. увеличенія нагрузки потребностей „на единицу матеріала“. Примѣръ:

— слегка повизгиваль брюхатый бригъ
 На мокромъ и мозолистомъ канатѣ —
 Мозолистый канатъ — „боковая“ характеристика матросовъ... (Но можно еще „нагрузить“! — Зѣлинскій пропустилъ слово „брухатый“ и „повизгиваль“, — могущихъ быть „боковой“ характеристикой еще кого-нибудь изъ находящихся на бригѣ...) Механичность, безжизненность этого приема явно бросается въ глаза. То что конструктивисты называютъ „боковой характеристикой“ есть на самомъ дѣлѣ старыи поэтический приемъ, какъ всѣ поэтическіе приемы имѣющій смыслъ только при органическомъ, а не механическомъ употребленіи.

— На берегу пустынныхъ волнъ
 Стоялъ онъ думъ великихъ полнъ —

„Пустынная волна“ здѣсь, несомнѣнно, боковая характеристика берега; иначе эпитетъ „пустынныхъ“ не былъ бы поэтически заостренъ. Даже болѣе: слово „великихъ“, если вдуматься, тоже „боковая характеристика“... Характеристикъ „боковыхъ“ въ простой разговорной рѣчи не оберешься. Это одно изъ самыхъ простыхъ явленій органическаго языка. Трудно удержаться отъ параллели между поэтическими открытіями прекраснаго теоретика Зѣлинскаго и религиозными открытіями большаго ученаго Фламариона, открывшаго на старости лѣтъ, то, что можно найти во всякомъ изложеніи религіи племенъ центральной Африки.

Завершаемый идеологическо-алгебраической статьей Аксенова, Сборникъ имѣетъ, своимъ главнымъ содержаніемъ, поэзію. Вотъ одинъ отрывокъ изъ романа въ стихахъ самаго талантливаго изъ участниковъ книги, И. Сельвинскаго:

„...Я. Пойдемте, такъ сказать, въ
 таверну
 Пропустимъ рюмаху, а потомъ и
 закусонъ.
 И Штейнъ зашагалъ геометрически
 вѣрно,
 Какъ человѣкъ планирующій пищу
 и сонъ.
 И циркуль этихъ размѣренныхъ
 буроковъ,
 А съ другой стороны его лоекутная
 рѣчь
 Подъ черепомъ Гая въ какой то норѣ
 Классифицировалась изъ сумбура.
 Пивная лужа лошадиной мочи,
 Зеленая вывѣска — омаръ во фракѣ!
 Трактиръ „Растабаровка“. —
 Мальчикъ! Очисти.
 Пиво, моченный горохъ и раки“.

Острой бородки гофрированный
 каракуль
 Смѣхъ черезъ ноздри при сжатыхъ
 губахъ!
 „Мальчикъ, скоро тамъ? Я просилъ
 раки.
 (Не люблю Россіи — тупа) . . . “
 (Улялаевщина, гл. 5).

Послѣ каждой поэтической пьесы, авторъ ея рисуетъ алгебраическій корень во всю страницу, и извлекаетъ изъ него смыслъ того, что онъ хотѣлъ написать. Эта система остроумна.

Среди поэзіи разбросаны конструктивные лозунги — афоризмы: „Я лично очень хочу писать языкомъ понятнымъ для массъ, но какъ быть, если мой герой воспитанъ на иностранцахъ“. Или: „Стихъ долженъ бить прозу на ея территоріи“. Или: „Нужно сдѣлать поэзію, какъ и высшую математику, доступной массамъ, но не путемъ изъятія ея цѣнностей, а созданиемъ кадровъ растолковывателей въ рабочихъ клубахъ и избахъ — читальняхъ, т. е. путемъ организованнаго подъема культуры“ . . .

Д. А.

Ив. Бунинъ. „Роза Иерихона“
 Берлинъ. 1925 г. Изд. „Слово“.

О литературной святости Ивана Бунина многое говорилось, но это, конечно, лишь малая часть того, что будетъ сказано. Бунинъ совершененъ. До того, что отъ него боишься „чегонибудь ждуть“, какъ отъ человѣка, который, въ своемъ остромъ совершенствѣ, ходитъ по канату надъ пропастью.

Эллинская эпоха, эпопея Толстого, входитъ, въ лицѣ Бунина, въ свой законный эллинистическій періодъ. Говоря о Бунинѣ, критика сравнивала его мастерство съ мастерствомъ Льва Толстого. Но развѣ это — сказать чтонибудь о Венерѣ Милосской, сравнивъ ее съ Поликлетовымъ Зевсомъ? Эллинистическій періодъ не такъ мощенъ, правда, не такъ „классиченъ“, какъ эллинскій, но онъ утонченнѣе и — по моему — прекраснѣе. Въ Бунинѣ нѣту „соціологическаго“ резонерства Толстого. Если Бунинъ не можетъ явить Чингисъ-Хана игрушкой космическихъ силъ Азіи, онъ не будетъ *разсказывать*, какъ похожъ былъ Чингисъ-Ханъ, въ своемъ нашествіи на Россію, на ребенка, держащагося внутри кареты за тесемку и воображающаго, что онъ правитъ . . .

Айхенвальдъ опредѣлилъ Толстого, какъ писателя конгеніальнаго природѣ.

Бунинъ конгеніаленъ водѣ отражающей природу.

Ш.

„Современныя Записки“. Кн. XXV
 1925 г. Парижъ.

Какъ бы вознаграждая русскую Литературу за свой подзаголовокъ (гдѣ, на первомъ мѣстѣ стоятъ Общественность и Политика) „Современныя Записки“ не перестаютъ давать зарубежной Россіи первоклассныя литературныя произведенія.

Пусть справедливо — и не одинъ разъ — указывали критики на нѣкоторую излишнюю консервативность „Современныхъ Записокъ“, — вмѣстѣ со справедливостью надо умѣть распространять и благодарность. „Современными Записками“ поддерживается традиція російскихъ „толстыхъ“ журналовъ, и, одно это романтическое воспоминаніе способно въ корнѣ парализовать готовую разыграться требовательность, при видѣ столь маститаго изданія... (Ничего не говорящій въ своемъ подзаголовкѣ о Литературѣ, другой большой зарубежный журналъ: „Воля Россіи“ имѣетъ передъ „Совр. Зап.“ то несомнѣнное преимущество, что одинъ изъ его официальныхъ редакторовъ — человекъ непосредственно относящійся къ Литературѣ. Не отъ этого ли „Воля Россія“ болѣе „живой“ журналъ, несмотря на то, что въ немъ не появилась бы „Митина Любовь“ Бунина, и тамъ не родился бы — во весь ростъ — Алдановъ).

Книга XXV — содержитъ въ себѣ совершенно изумительное стихотвореніе Владислава Ходасевича, названное „Балладой“. Это стихотвореніе геніальнѣйшаго вкуса, проведенное, съ начала до конца, безъ малѣйшихъ признаковъ „цементировки“, — поэтически нешвенно, при тонкомъ и остромъ тематическомъ построении. Не знаю, когда написанное, стихотвореніе это — событіе въ русской поэзіи 1925 года. Жалко лишь, что ему (какъ и вообще поэзіи) „Современными Записками“

ми“ отведено не первое мѣсто, а задворки.

Библиографическій отдѣлъ книги, какъ всегда, исключителенъ: прекрасные статьи — З. Н. Гиппиусъ, М. Алданова, Кн. Д. Святотопольскій - Мирскаго.

Д. А.

„Ковчегъ“. Сборникъ союза русскихъ писателей въ Чехословакии. Изд. „Пламя“ 1926.

Голубокъ, котораго выпускалъ Ной изъ ковчега, и о которомъ напоминаетъ предисловіе къ Сборнику русскихъ писателей въ Чехословакии, — не держалъ въ своемъ клювѣ перья. Лучше, если бы безъ него обошлось дѣло и теперь. Фразы вроде: „Быть лишеннымъ отечества, это не значитъ утратить отечество“ — неинтересны своей классической безспорностью. Фразы: „Трудно писать въ разсѣяніи, не дыша воздухомъ родины“ — неинтересны по причинѣ обратной.

Послѣ холодныхъ, мраморныхъ стихотвореній Сергѣя Маковскаго, — „Поэма Конца“ Марины Цвѣтаевой. Авторъ — создатель „культурнаго“ эпоса. Какимъ то чудомъ (чудомъ рожденія, вѣроятно!) похищено перо у сказочной Птицы русской народной пѣсни, и пишутся, перомъ этимъ, „цивилизованныя“ — сюжетно и формально — стихотворенія. Вмѣсто того, чтобы поздравить, „цивилизацию“ (или, по крайней мѣрѣ, оскорбиться за эпосъ!) нѣкоторые критики... разводятъ ру-

ками. Можетъ быть Марина Цвѣтаева и повинна немного въ этомъ жестѣ. Можетъ быть она, желая весь міръ вещей собрать въ свое поэтическое объятіе, жертвуетъ для этой великой цѣли, нѣкоторыми маленькими человѣческими привычками мышленія... возможно. Что слѣдуетъ удержать изъ „Поэмы Конца“, это — все.

„Между небомъ и землей“ — Е. Чирикова, полу-рассказъ, полу-происшествіе. Очень задолго, очевидно, до Революціи, на монастырскомъ пароходѣ идущемъ къ Валааму, среди богомольцевъ и — команды парохода — монаховъ, находится повѣствующее лицо — интеллигентъ, ощущающій въ себѣ лишь „настроеніе“, „бесознательное инстинктивное тяготѣніе духа къ мистическому и печаль по утраченной способности просто вѣрить и молиться, какая была когда то въ дѣтствѣ“.

„Между небомъ и землею“ (ближе все таки къ землѣ, пожалуй) происходитъ коллизія — души интеллигента, затронутой хитростію разума, съ безхитростною вѣрою народной, цѣльной и глубокой. Интеллигентъ безпомощенъ передъ враждой народа къ нему, какъ къ опасному безумцу... Жаль, что не привелъ Е. Чириковъ своего героя-интеллигента, хотя бы въ Чехію сегодняшнихъ дней. — Можетъ быть тогда стала бы ясной *конечная* идея рассказа, всецѣло построеннаго на *идеѣ*.

„Тифъ“ С. Ефрона и „Ольга“ Н. Воеводина — двѣ прекрасныя вещи. Въ „Тифѣ“, авторъ талант-

Благонамѣренный, кн. I.

ливо сознаетъ мѣру своей сегодняшней безпомощности: рассказъ разбитъ на, ослабляющіе интереснѣйшую динамику рассказа, абзацы; въ „Ольгѣ“, авторъ какъ то опасно-законченъ, — просто не видишь, куда бы Воеводинъ могъ еще пойти, при условіи неповторенія себя.

Вал. Булгаковъ публикуетъ въ сборникѣ цѣннѣйшія воспоминанія о Толстомъ, тѣ, что онъ „замолчалъ“ въ своей книгѣ. Спасибо. „Замолчанное“ — всегда наицѣннѣйшій и, увы, наирѣдчайшій матерьялъ исторіи. Развѣ не произведетъ, на нѣкоторыхъ людей, очень серьезнаго, впечатлѣнія, такая, скажемъ, замѣтка, близкаго Толстому человѣка:

„Когда Левъ Николаевичъ возвращался съ ежедневной утренней прогулки пѣшкомъ по окрестностямъ Ясной Поляны, у подъезда дома его обычно поджидала цѣлая кучка нищихъ, босяковъ и просителсй.

Я знаю, что первое чувство, какое появлялось у Льва Николаевича при видѣ этой кучки, было: раздраженіе.

Онъ боролся съ этимъ чувствомъ“.

Ш.

РЕЦЕНЗИЯ О „ЗВЕНѢ“

Каждую недѣлю каждый зарубежный русскій „культурный ѣдокъ“ имѣетъ возможность, за очень недорогую плату, выпить утромъ прекраснаго литературна-

го кофе. Авторъ рецензіи очень просить редакторовъ „Звена“, М. М. Винавера и П. Н. Милюкова, простить ему это сравненіе ихъ газеты съ пріятнымъ, но все же напиткомъ, который, впрочемъ, пьется всѣми европейцами. Периодически вкушать пищу — забота cadaго челоѵка, который хочетъ остаться жить, а тѣмъ болѣе жить культурно. Въ условіяхъ же зарубежности, всякое периодическое вкушеніе, даже столь привычное, какъ обѣдъ („Современныя Записки“) пріобрѣтаетъ особую цѣнность.

Въ условіяхъ зарубежности, русская литературная газета въ Парижѣ — фактъ отрадный, съ которымъ придется считаться будущему историку нашего литературнаго робинзонствованія.

Газетой „литературно-политической“ Звено называется — конечно — только изъ стыдливости. Кромѣ інформаціонной первой страницы, она почти исключительно литературна. Пріятна эта гегемонія литературы. Семья сотрудниковъ составила прочно и — по скромному мнѣнію автора рецензіи — необычайно удачно. Литературное направленіе „Звена“ можно назвать „информаціонно-воспитательнымъ“. Литература показывается и рассказывается, причемъ рассказывается, надо сказать, лучше чѣмъ показывается. Послѣднее, вѣроятно, вслѣдствіи: во первыхъ — газетнаго размѣра, во вторыхъ — присутствія двухъ главныхъ „рассказчиковъ“ (К. Мочульскаго и Г. Адамовича), въ третьихъ...

отсутствія того, вѣроятно, что можно было бы показывать.

Но есть, несомнѣнно, въ „Звенѣ“ какой то внутренней вѣтерокъ идущій противъ Литературы. Скрыть это трудно. Недавно введенная рубрика, гдѣ резюмируются французскіе романы „для ориентировки читателя“, — очень нелитературная рубрика, хотя это только грубый симптомъ той легкой тенденціи, временами наплывающей на газету, подталкивающей ее „внизъ“. Если пониженіе культуры „Звена“ является только слѣдствіемъ нелитературныхъ заботъ, — выходъ, конечно, еще есть.

Въ заключеніе, фактъ: Недавно пришлось автору рецензіи видѣть во Флоренціи редактора одной еженедѣльной флорентинской литературно-культурной газеты. Редакторъ замѣтилъ, что его газета одна изъ самыхъ литературныхъ въ Италіи.... Кто ознакомится съ этой газетой, а послѣ повѣритъ словамъ ея редактора, тотъ не сможетъ не пожелать Италіи выхода Звена — хотя бы во вторникъ — на итальянскомъ языкѣ.

Д. А.

P. S. Рецензія была уже написана, когда пришло извѣстіе о новомъ форматѣ „Звена“. Нельзя его не привѣтствовать — отъ души.

Временникъ общества друзей русской книги. I. Парижъ МСМХХV.

Нельзя не привѣтствовать изданіе Я. Поволоцкимъ „Временника общества друзей русской книги“, посвященнаго книгѣ, какъ самоцѣнности. Необходимость такого библиофильско-библиографическаго изданія въ нашей заграничной, зарубежной Россіи съ каждымъ годомъ чувствовалась все настоятельнѣе и настоятельнѣе.

Стремленіе заинтересовать книгой, какъ книгой, возможно болѣе широкіе круги читателей, сдѣлало то, что „Временникъ“, по крайней мѣрѣ его первый номеръ, носитъ характеръ не столько спеціальнаго изданія, сколько популярнаго; а желаніе дать какъ можно болѣе разнообразнаго матеріала опредѣлило конспективный характеръ однѣхъ и слишкомъ общій характеръ другихъ статей и замѣтокъ. Пожалуй, можно пожалѣть о томъ, что на 99 страницъ помѣстилось 20 статей и замѣтокъ: совершенно очевидно, что Сергѣй Маковский на 8 страницахъ могъ только дать общія предствавленія о „четверти вѣка русской графики“, что иллюстраціи на 6 страницахъ статьи П. Апостола „Rossica“ (тема обширная, увлекательная) могли быть только случайныя и учебно-популярныя, что редакція принуждена была ограничиться только выдержками изъ статьи П. Столпянскаго „Книга въ Старомъ Петербургѣ“... Всѣ эти статьи интересны и поучительны

для широкой публики, но онѣ производятъ впечатлѣніе не то урѣзанныхъ, не то писанныхъ наспѣхъ. Такого впечатлѣнія не производитъ очень дѣловая и добросовѣстно - обстоятельная статья Я. Полонскаго „Библиографія зарубежной библиографіи“; достаточно подробно рассказана и В. Зензиновымъ исторія книгохранилища въ Вашингтонѣ. Суха и не полна замѣтка Евг. Зносковскаго „зарубежная литература о театрѣ“ и совсѣмъ случайны три статьи: С. Р. Минцлова — „Синодикъ“, Г. Л. Лозинскаго — „Русскіе авторы во французскихъ переводахъ“ и „Русская поэзія за границей въ 1924 году“ — К. Мочульскаго. С. Р. Минцловъ приводитъ совершенно случайный списокъ погибшихъ во время русской революціи частныхъ библиотекъ (кто былъ въ Россіи въ 1918 - 1920 г. г., тотъ знаетъ, какъ безпощадно - варварски уничтожались сотни цѣннѣйшихъ и обширнѣйшихъ книжныхъ собраній). Еще болѣе случайно называетъ русскихъ авторовъ, переведенныхъ на французскій языкъ Г. Л. Лозинскій; впрочемъ, онъ больше занятъ разборомъ достоинствъ и недостатковъ въ переводахъ Б. Шлецера. Лозинскій жалѣетъ, что обѣщанный Шифринымъ переводъ „Бориса Годунова“ не появлялся до 1925 года и пропускаетъ выпущенный въ 1923 году тѣмъ же Шифринымъ переводъ „Пиковой Дамы“ (отмѣчаемъ это, п. ч. въ этомъ переводѣ, въ которомъ принималъ участіе и Б. Шлецеръ, находятся

такіе переводческіе перлы, которые обезсмысливають повѣсть Пушкина). Удивляться тому, что К. В. Мочульскій на 2 1/2 страницахъ не могъ дать настоящаго обзора русской поэзіи за границей въ 1924 г. — врядъ ли приходится...

Отмѣтимъ живо и сердечно написанныя некрологическія замѣтки П. Апостола („Памяти А. Ѳ. Онѣгина“) и А. Изюмова („Мои встрѣчи съ А. И. Браудо“); слѣдовало бы отмѣтить и другія статьи и замѣтки, которыхъ не мало во „Временникѣ“ (толково и со знаніемъ дѣла написана замѣтка „Французскій рынокъ Russia“, любопытна „Русская книга въ Америкѣ“, очень полезна „Книжная лѣтопись“...), но — отошлемъ лучше читателя къ самому „Временнику“, который, хочется думать, не прекратитъ своего существованія на первомъ номерѣ.

М. Г.

Проф. П. Бицилли. Этюды о русской поэзіи. Пламя. Прага 1926.

Не такъ давно пражское „Пламя“ выпустило интересную и цѣнную книгу талантливаго историка проф. П. Бицилли „Очеркъ теоріи исторической науки“, а на дняхъ появилась другая книга того же проф. Бицилли, относящаяся совершенно къ другой области — „Этюды о русской поэзіи“.

Книга содержитъ въ себѣ три этюда „Эволюция русского стиха“,

„Поэзія Пушкина“ и „Место Лермонтова в ист. русск. поэзіи“ и три дополненія: „К вопросу о природе русского стиха“, „Сон“ и проч. „в Пушкинском словаре“ и „Художественный замысел Медн. Всадника“. Три четверти всей книги посвящено Пушкину, его поэзіи, но названіе книги оправдывается тѣмъ, что всѣ статьи говорятъ больше всего о томъ, какъ слѣдуетъ, по мнѣнію П. Бицилли, изучать русскую поэзію.

Этюды Бицилли очень интересны и значительны и заслуживаютъ самаго серьезнаго и внимательнаго отношенія къ нимъ. Имѣя намѣреніе вернуться еще къ этой книгѣ, въ настоящей краткой рецензіи я ограничиваюсь поневолѣ замѣчаніями только самаго общаго характера.

И самый большой, и самый интересный этюдъ Бицилли — Поэзія Пушкина: „Эволюция русского стиха“, богатая очень тонкими наблюденіями надъ особенностями англійскаго и итальянскаго стиха, грѣшитъ не полнотой и открываніемъ уже не разъ открытыхъ Америкъ (совершенно справедливо утвержденіе автора, что рифма есть ритмическое свойство, а не „украшеніе“ стиха, но развѣ это и подобныя имъ положенія нуждаются въ доказательствахъ и защитѣ?), а въ этюдѣ „Место Лермонтова в ист. русской поэзіи“ болѣе ярко, чѣмъ въ другихъ его этюдахъ, обнаруживается уязвимая пятая проф. Бицилли: прекрасный, повидимому, знатокъ русской поэзіи, чув-

ствующій ритмическую природу русскаго стиха, внимательный читатель и тонкій наблюдатель, изслѣдователь-историкъ, владѣющій научными методами и не смѣшивающій задачи культурной исторіи и поэтики (въ чемъ такъ повинны т. наз. историки литературы, превращающіе исторію литературы въ исторію культуры) — проф. П. Бицилли не специалистъ въ исторіи русской литературы и потому указать мѣсто Лермонтова, занимаемое имъ въ *исторіи русской поэзіи*, не можетъ. Проф. Бицилли какъ будто даже игнорируетъ исторію поэзіи и предлагаетъ вывести Пушкина за предѣлы исторіи... Въ этомъ презрѣніи къ исторіи литературы проф. Бицилли сближается съ представителями т. н. формальнаго метода, отъ которыхъ онъ отличается и большей широтою взглядовъ и уваженіемъ ко внутренней цѣнности слова, неразрывной съ его художественной значимостью. Въ своихъ изслѣдованіяхъ ритма русскаго стиха проф. П. Бицилли часто соприкасается съ формализмомъ Б. В. Томашевскимъ, но онъ прекрасно понимаетъ обреченную ограниченность метода Томашевскаго и идетъ дальше послѣдняго.

Неслучайны точки соприкосновенія проф. Бицилли и съ В. Ф. Ходасевичемъ (съ его „Поэтическимъ хозяйствомъ Пушкина“) — ибо и эта тема — психологія творчества Пушкина, и подходъ къ ней — намѣтились въ пушкиновѣдѣніи, какъ вопросъ сегодняшняго дня.

М. Л. Гофманъ

Як. Цвибакъ. Старый Парижъ. Иллюстраціи Бориса Гроссера. Изд-во Я. Поволоцкій и К^о въ Парижѣ.

Тотъ, кто сталъ бы искать въ „Старомъ Парижѣ“ описанія старыхъ построекъ Парижа и стараго художественнаго Парижа, уцѣлѣвшаго до нашихъ дней — былъ бы глубоко разочарованъ, ибо элементъ *описанія* совершенно отсутствуетъ въ книгѣ Цвибака, нарядно изданной Я. Поволоцкимъ.

„... Начинаетъ накрапывать мелкій, весенній дождь. Единственное убѣжище — церковь Сэнъ-Сюльписъ. Нѣсколько свѣчей мерцаетъ вдали: темныя фигуры молящихся застыли по угламъ — неровныя тѣни мелькаютъ и бѣгутъ вдоль холодныхъ стѣнъ“ — Вотъ все, что можетъ сказать Як. Цвибакъ о церкви St Sulpice, и ни объ одномъ памятникѣ парижской старины онъ не говоритъ большаго.

Разочаруется и тотъ, кто будетъ искать въ „Старомъ Парижѣ“ новыхъ и оригинальныхъ мыслей или новаго изслѣдованія о старомъ Парижѣ — этотъ компилятивный трудъ и не претендуетъ ни на какое изученіе и оригинальность, и, конечно, нельзя автору ставить требованій объ исполненіи такихъ задачъ, какихъ онъ самъ себѣ не ставилъ. Но я увѣренъ, что многіе прочтутъ съ интересомъ эту легко (иногда слишкомъ легко) написанную книгу - *sauf erreur*, въ которой собраны историческіе анекдоты и

преданія, связанныя съ тѣмъ или другимъ мѣстомъ стараго Парижа. Книга читается легко и иногда даже сѣтуешь на эту легкость фельетониста: Як. Цвибакъ иногда забываетъ, что онъ въ „старомъ Парижѣ“, а не въ нижнемъ этажѣ газеты — въ фельетонѣ — и пишетъ напр. о томъ, какъ „Последними пришли къ «Прокопу» русскіе... Три года тому назадъ, въ одной изъ залъ Н. Д. Авксентьевъ критиковалъ брошюру Пѣшихонова — „Почему я не эмигрировалъ... Арбитромъ въ спорѣ выступилъ П. Н. Милюковъ...“ и т. д.

Такой фельетонизмъ нѣсколько раздражаетъ, но о немъ охотно забываешь, когда читаешь такія главы, какъ напр. „Петръ Великій въ Парижѣ“, въ которыхъ за бойкимъ перомъ фельетониста слышишь подлинное дыханіе исторіи.

Л.

Въ 1925 году въ Парижѣ появилось много тетрадей стихотвореній. Объ одной изъ такихъ тетрадей я и хочу сказать нѣсколько, очень немного, словъ, не называя ни ея, ни имени автора, дабы не заставлятъ его краснѣть лишній разъ въ случаѣ, если онъ когда-нибудь станетъ грамотнѣе (впрочемъ, на это кажется мало надежды).

Стихи тяжелые, скучные, нудные, ритмичные, агармоничные, амелодичные; много стиховъ — строкъ, и ни одного стихотворенія, ни одной цѣлой пьесы (ибо

соединеніе стихотворныхъ строкъ еще не образуетъ цѣлаго стихотворенія). Самое замѣчательное въ этихъ стихахъ — языкъ, которымъ они написаны: такое словоупотребленіе и такое словосочетаніе, такой синтаксисъ не часто встрѣтишь въ наши дни. Приведу нѣсколько примѣровъ придаточныхъ предложеній безъ главныхъ, подлежащихъ безъ сказуемыхъ, употребленія союза „и“ въ качествѣ подлежащаго главнаго предложенія, пропусковъ предлоговъ и проч. и проч.:

Въ почтовой конторѣ и сегодня
так сини

глаза продавщицы, но марок кайма,
но белый конверт, как за окнами иней,
и сторож, стуча деревяжкой, хромал....

И так, не сегодня-ли, завтра, но все же
зачем и когда и придет-ли ответ....

Как сторож, сметая обрывки в корзину,
стучит деревяжкой и иней в окне....

В таверне, в трюмо, на столах и
эстраде....

— Поверь мне — и скрипнув зубами,
с проклятьем
с разбегу на стену и в трюм сиганул...

На земле запупырилась кожаца
под дождем, как копытом коня....
(кожица запупырилась
„как копытом“?)

.... сверкает заревом иных огней —
то встречъ с забытыми, то именами...

Чей рот пьянящий — нет — чей взгляд
нескромнен (нескромный?)
во сне и в яви мнѣ — о чем просил?

Гнев — это плеснь богов....

Довольно (нельзя же переписать всѣ 13 стихотвореній).

Что это: совершенная безграмотность или совершенное неумѣніе писать стихи, въ жертву которымъ приносится и языкъ — матеріаль стиха — и смыслъ, или

и то и другое вмѣстѣ? И стоитъ ли занимать страницы журнала и вниманіе читателей разборомъ такихъ „стиховъ“? — Первый вопросъ оставлю безъ отвѣта, а на второй вынужденъ отвѣчать: увы, стоитъ! Стоитъ не потому, что такія безграмотныя и бездарныя стихотворенія появляются съ каждымъ днемъ все въ большемъ и большемъ количествѣ, но потому, что въ такихъ плохихъ стихахъ рѣзче бросается въ глаза грозное явленіе современности, которое мы подмѣчаемъ въ стихахъ и болѣе даровитыхъ поэтовъ: стихотворное фокусничество при отсутствіи элементарной стихотворной грамотности и варварская расправа съ синтаксисомъ русскаго языка.

Р. Г.

Е. В. Аничковъ. Западные литературы и славянство. Очеркъ первый. Перепутье и разрывъ XI - XV в. в. „Пламя“. Прага. 1926.

Талантливѣйшій А. Н. Веселовскій окружалъ себя мало талантливыми учениками, и проф. Е. В. Аничковъ представляетъ едва ли не единственное исключеніе. Книжки Е. В. Аничкова рѣдки, но онѣ всѣ интересны, значительны и оригинальны. Большой интересъ представляетъ и его послѣдняя, только что вышедшая книжка или, лучше сказать, книжечка „Западные литературы и славянство“. Эпиграфомъ для своей работы проф. Аничковъ взялъ слова Хо-

мякова изъ „Разговора въ подмосковной“: „Всякой живой народъ есть еще невысказанное слово“, — эта эмоціональная мысль проходитъ черезъ всю книжку Аничкова — краткій конспектъ западной литературы. Своей задачей — въ предѣлахъ литературы „постараться вновь прослѣдить, ну, конечно, не міровую, а только европейскую исторію, не переставая при этомъ напряженно думать о судьбахъ славянъ“ — Е. В. Аничковъ хочетъ отвѣтить на вопросъ: какое мѣсто занимаетъ славянство въ міровой поэзіи.

Славянство стоитъ на перепутьи между востокомъ и западомъ: черезъ славянскій міръ пьеть западъ изъ неизсякающихъ струй восточной мудрости; долгое время славянство и западъ живутъ общей культурной жизнью — до тѣхъ поръ, пока раздѣленіе церквей не произведетъ разрыва между западомъ и востокомъ Европы. „Однако не надолго, добавляетъ Аничковъ. На очереди вмѣсто ориентализма *западничество*. Пройдетъ всего нѣсколько вѣковъ и сначала робко, но чѣмъ дальше, тѣмъ все смѣлѣе и, наконецъ, съ неудержимой жадностью начнетъ востокъ возобновлять свои сношенія съ западомъ“. Этотъ процессъ и составляетъ главное содержаніе книжки, распадающейся на двѣ главы: „церковь, книжники, рыцарство“ и „города и гуманизмъ, правая вѣра и народность“. Въ противность господствующему взгляду на духовенство среднихъ вѣковъ, какъ

на гонителя свѣтской поэзіи, Е. В. Аничковъ исповѣдуетъ діаметрально противоположный взглядъ, при чемъ въ своемъ увлеченіи доходитъ до такихъ крайностей, что готовъ утверждать насажденіе въ древней Руси духовенствомъ свѣтской литературы. Спорного въ утвержденіяхъ проф. Аничкова много (такъ, онъ утверждаетъ, что „Русь начала съ письменности, а не съ поэзіи“; такъ, онъ говоритъ, что пѣвецъ „Слова о полку Игоревѣ“ пишетъ „старыми словесы“, а не по замышленію „Баяню“ и проч. и проч.), но безспорно, что въ его книгѣ много интересныхъ мыслей. Знатокъ европейской литературы съ интересомъ прочтетъ книжку проф. Е. В. Аничкова и вступитъ съ нимъ въ споръ, а профану будетъ очень полезно познакомиться — въ интересномъ конспектѣ (135 страницъ небольшого формата) — со средневѣковой европейской литературой.

М.

И. Бабель. Рассказы.
Государственное Издательство
1925.

Книжка заключаетъ въ себѣ десять рассказовъ, изъ которыхъ шесть были впервые напечатаны въ *Лепѣ* (№ 4, 1923). Рассказы неравнаго достоинства. Очень замѣтна зависимость Бабеля отъ сюжета. Гдѣ сюжетъ „очевидно данный жизнью“ даетъ хорошій костякъ — рассказъ превосхо-

денъ. Такихъ рассказовъ всего три: *Король* (изъ серіи объ одесскихъ бандитахъ), *Письмо* и *Соль* (изъ серіи о конарміи Буденаго). Эти рассказы — совершенство, — и по силѣ мастерства, и по великолѣпію сказа, въ которомъ Бабель не имѣетъ соперниковъ, и по сложности конечнаго результата, въ которомъ изумительнымъ образомъ сведены въ какое-то новое единство героической пафосъ, грубый реализмъ, и высокая иронія. Густота и художественная содержательность этихъ рассказовъ — приближаетъ ихъ къ поэзіи. Изъ другихъ рассказовъ нѣкоторые представляютъ тѣ же черты, но безъ завершающаго единства дѣйствія. (*Отецъ, Какъ это дѣлалось въ Одессѣ, Смерть Долушова, Замостье*). Но другіе значительно ниже. *Линія и цвѣтъ* остроумный, но безвкусно написанный фельетонъ. *Исусовѣ Грѣхѣ* хуже всѣхъ и положительно уродуетъ книгу, не по кощунственности только, а по совершенной безсмысленности.

Д. С. М.

Борис Пастернак. Рассказы.
Изд. Круг. Москва. 1925.

Изъ четырехъ рассказовъ включенныхъ въ эту книгу — два, *Дѣтство Люверсъ*, (написанный въ 1918) и *Воздушные Пути* (въ 1924 году) — принадлежатъ къ числу самыхъ выдающихся явлений послѣ-революціонной литературы. Въ нихъ нѣтъ интесив-

ной лиричности стиховъ Пастернака, но есть та-же свѣжесть и новость воспріятія. Пастернакъ какъ бы разбираетъ на части наше представленіе о внѣшнемъ мірѣ, и изъ полученнаго такимъ образомъ хаоса возсоздаетъ новый міръ съ новыми отношеніями и новыми „апперцепціями“. Въ *Дѣтствѣ Люверсъ* этотъ приѣмъ мотивированъ сюжетомъ — исторія того, какъ постепенно возникалъ внѣшній міръ дѣвочки, Жени Люверсъ. Въ *Воздушныхъ Путяхъ* приѣмъ обнаженъ. Пастернакъ совершенно свободенъ отъ недостатковъ современной орнаментальной прозы. Въ *Дѣтствѣ Люверсъ* его стиль простъ и неукрашенъ, настоящая логическая проза. Но и въ *Воздушныхъ Путяхъ*, гдѣ онъ нагромождаетъ „образъ“ на „образъ“, эти образы интеллектуальны и познавательны, а не риторичны. Въ Пастернакѣ надо привѣтствовать крупнаго прозаика, которому, вѣроятно, принадлежитъ большое будущее.

Д. С. М.

Осип Мандельштам.
Шум Времени.
Изд. Время. 1925.

Еще замѣчательная книга, стоящая внѣ господствующихъ теченій. Эта проза поэта. Но поэтического въ ней только густая насыщенность каждаго слова содержаніемъ. Какъ Пастернакъ, Мандельштамъ совершенно свободенъ отъ ритмичности, риторичности и „импрессионизма“.

Шумъ Времени книга воспоминаній, но не личныхъ, а „культурно - историческихъ“. Мандельштамъ дѣйствительно слышитъ „шумъ времени“ и чувствуетъ и даетъ физиономію эпохъ. Первые двѣ трети его книги посвященныя воспоминаніямъ о до - военной эпохѣ, съ конца 90-хъ годовъ, несомнѣнно гениальное произведение, съ точки зрѣнія литературной и по силѣ исторической интуиціи. Разложеніе и умираніе Императорской Россіи почувствовано и представлено съ силой и правдой, на которую никто кромѣ него не способенъ. Традиція Мандельштама восходитъ къ Герцену, и Григорьеву (*Литературныя Скитальчества*); изъ современниковъ только у Блока (какъ ни странно) есть что-то подобное мѣстами въ *Возмездіи*. Эти главы должны стать, и несомнѣнно станутъ, классическимъ образцомъ культурно - исторической прозы.

Послѣднія главы, посвященныя Бѣлому Крыму, значительно слабѣе, — это не болѣе какъ разрозненная пыль, порой великолѣпныхъ, но не связанныхъ образовъ.

Д. С. М.

Константин Федин.
Города и Годы. Государственное
Издательство. 1924.

Несомнѣнно лучший романъ изо всѣхъ до сихъ поръ написанныхъ младшими (моложе Бѣлаго) писателями. Фединъ пріятно выделяется умомъ и *идейностью*.

Идея романа противопоставленіе бесплоднаго и роковымъ образомъ безсильнаго Гамлета-Интеллигента, Андрея Старцева, людямъ менѣе сложнаго или болѣе напряженнаго типа — „романтической героинѣ“ Маріи Урбахъ, „романтическому злодѣю“ Маркгафу фонъ-Шенайху, нѣмецкому коммунисту Курту Вану, русскимъ узднымъ коммунистамъ. Судя по сходству деталей романа съ напечатанными автобіографіями Федина, Старцевъ (во всякомъ случаѣ съ внѣшней стороны) задуманъ автобіографически. Первая часть романа происходитъ въ Германіи. Дѣйствіе начинается незадолго до войны. Война написана въ яркихъ, анти-милитаристскихъ тонахъ, и авторъ какъ бы вполне сливается съ правымъ возмущеніемъ Андрея Старцева, который живетъ въ Саксоніи гражданскимъ плѣннымъ. Многія страницы этой части принадлежатъ къ самой *сильной* военной литературѣ нашего времени. Во второй части дѣйствіе переносится въ Совѣтскую Россію и Старцевъ постепенно и неизбежно развѣнчивается и гибнетъ.

Интрига сложна, и запутана и распутана рукой мастера. Характеры дѣйствующихъ лицъ отчетливы и убѣдительно, съ нѣкоторымъ уклономъ къ мелодрамѣ, что совсѣмъ не плохо. Едва ли не лучше всего въ романѣ, эпизодическая и какъ бы символическая фигура мужика Федора Лепендина, безногаго военноплѣннаго, непобѣдимаго оптимиста, одна изъ самыхъ удачныхъ и содержательныхъ фигуръ во всей новой литературѣ. Сцена его бессмысленно случайнаго повѣшенія написана съ большой и сдержанной силой, и полна подлинно трагической ироніи.

Языкъ Федина свободенъ отъ претензій и словечекъ, но иногда впадаетъ въ противоположный недостатокъ — безцвѣтность и „переводность“. Врядъ ли особенно необходимо было хроническое „смѣщеніе плановъ“ (развязка дана на первыхъ страницахъ, послѣ чего разворачивается все ведущее къ ней повѣствованіе) и нѣкоторыя другія маньеризмы — дань Школѣ Шкловскаго.

Д. С. М.



П о п р а в к а

По корректурному недосмотру, въ статьѣ М. Л. Гофмана „Клевета на Боратынскаго“, допущенъ пропускъ между словами „начавъ его словами“ и „Феофана Прокоповича“ (стр. 76, строка 9 снизу):

„Пишу къ вамъ подѣ громовымъ впечатлѣніемъ, произведеннымъ во мнѣ, и не во мнѣ одномъ, ужасною вѣстью о гибели Пушкина. Какъ русскій, какъ товарищъ, какъ семьянинъ, скорблю и негодую....“ Такъ писалъ Боратынскій въ февралѣ 1837 года князю П. А. Вяземскому, а въ 1840 году въ письмѣ къ своей женѣ онъ еще болѣе ясно высказалъ свой взглядъ на „силу и глубину“ пьесъ Пушкина: „Онъ только что созрѣлъ. *Что мы сдѣлали Россіане и кого погребли!* Слова....“

О п е ч а т к а

На стр. 27, въ первой строкѣ стихотворенія напечатано: „не наоборотъ“, слѣдуетъ читать: „не наоборотъ“.

О Г Л А В Л Е Н І Е

философическое обоснованіе бланонамѣренности (отъ редакціи)	3 стр.
--	--------

П О Э З І Я

Георгій Адамовичъ: Два стихотворенія	13
Александръ Гингеръ: Манія преслѣдованія	15
В. Диксонъ	17
Георгій Ивановъ: Стансы	19
Галина Кузнецова	21
Ирина Одоевцева	24
Глѣбъ Струве: Душа	26
Марина Цвѣтаева: Марина	28

П Р О З А

Брониславъ Сосинскій: Послѣдній экзаменъ	33
Георгій Цебриковъ: Три разсказа	
Случай съ Хухриковымъ	38
Вода	44
Баллада о Щеткѣ	51

Ив. Бунинъ: Воды многія (изъ путевой поэмы)	62 стр.
---	---------

СТАТЬИ

М. Л. Гофманъ: Клевета на Боратынскаго	73
К. Мочульскій: Пролетарская лирика	82
Кн. Д. Святополкъ-Мирскій: О нынѣшнемъ состояніи Русской литературы	90
Робертъ Вивье: Рациональный порядокъ или психическій хаосъ?	98
Евг. А. Зноско-Боровскій: Театръ безъ репертуара	106
Федоръ Степунъ: Не афоризмы	113
Марина Цвѣтаева: О благодарности	119
Кн. Д. А. Шаховской: Нѣсколько мыслей о поэзи	126

АРХИВЪ

Алексѣй Ремизовъ: Купчая	135
Н. А. Пушкинъ: Объ одной неизвѣстной находкѣ пушкинскихъ рукописей	140
Къ запрещенію „Европейца“ (изъ неизданныхъ писемъ И. В. Кирѣевскаго къ В. А. Жуковскому) — М. Л. Гофмана	143
Письмо С. Шевырева	147

БИБЛИОГРАФІЯ: „Молодецъ“, Марина Цвѣтаева — Аріадна Чернова; „Новая поэма Есенина“ — К. Мочульскій; „Рецензія о читателяхъ“ — Д. А. Ш.; „О любви, поэзи... и государственной службѣ“ — Д. А.; „Роза Іерихона“, Ив. Бунинъ — Ш. „Современныя Записки“, кн. XXV — Д. А.; „Ковчегъ“, Сборникъ союза русскихъ писателей въ Чехословакии — Ш. „Рецензія о Звенѣ“ — Д. А.; „Временникъ общества друзей русской книги“ — М. Г.; „Этюды о русской поэзи“, П. Бицилли — М. Л. Гофманъ; „Старый Парижъ“, Як. Цвибакъ — Л. — Р. Г.; „Западные литературы и славянство“, Е. В. Аничков — М.; „Рассказы“, М. Бабель — Д. С. М.; „Рассказы“, Борис Пастернак — Д. С. М.; „Шум Времени“, Осип Мандельштам — Д. С. М.; „Города и Годы“, Константин Федин — Д. С. М. 151 стр.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛЬ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЫ

БЛАГОНАМЪРЕННЫЙ

Подъ редакціей Кн. Д. А. ШАХОВСКОГО
Подъ руководствомъ ГРИГ. СОКОЛОВА

**Журналъ посвященъ всецѣло Русской Литературѣ.
Его ближайшей цѣлью является усиленное выяв-
леніе русской литературной жизни сегодняш-
няго дня. Подъ „сегодняшнимъ днемъ“,
журналъ понимаетъ не только работу
сегодняшнюю, но и предчувствіе
работы завтрашней, память
работы вчерашней**

Журналъ выходитъ разъ въ два мѣсяца

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА :

На 1 годъ — 6 кн. ... 3 дол. 50 с.	Для Америки, Англии, Германии, Швейцарии и Дальняго Востока
„ $\frac{1}{2}$ „ 3 „ 2 „ — „	На 1 годъ — 6 кн. ... 4 дол. 50 с.
„ $\frac{1}{6}$ „ 1 „ — „ 70 „	„ $\frac{1}{2}$ „ 3 „ 2 „ 50 „
	„ $\frac{1}{6}$ „ 1 „ 1 „ — „

На лучшей бумагѣ - нумерованные

На 1 годъ — 6 кн. ... 10 дол. — с.
„ $\frac{1}{2}$ „ 3 „ 5 „ 50 „
„ $\frac{1}{6}$ „ 1 „ 2 „ — „

ЦѢНЫ НА ОБЪЯВЛЕНІЯ :

На 1 стр., на 1 разъ ... 20 дол.
„ $\frac{1}{2}$ „ „ 12 „
„ $\frac{1}{4}$ „ „ 7 „

Адресъ редакціи, приѣма подписки и объявленій :
527, Avenue Louise, Bruxelles (Belgique)